

0-38

4•1980

октябрь—декабрь

ОТНН
КУЗБАССА





ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

0-38

Выходит ежеквартально

Год издания 32-й

№ 4(69)

В Н О М Е Р Е

ПЕРВЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР



390452

СТИХИ

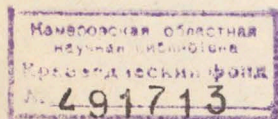
- Геннадий Юров. Из лирической тетради: «Что даровано от бога?..» «Вот опять ощущает строка...» «Какому зову ныне внемлю?..» 3
- Павел Майский. «Бесхозный, подгоревший старый дом...» «Лето знойное. Даль бронзовеет...» «За рекой в луга садится солнце...» «Из тайги выхожу под вечер...» 44
- Валерий Зубарев. «Однажды солнечным лучом...» «Я невольник всего. От всего...» Человек вселенский. «И с вами, люди, одинок я...» «Не зря и в мирской суете...» «Не плачь ты о том...» «Движение судеб и миров...» . . 50

ПРОЗА

- Геннадий Естамонов. Здесь я живу. Повесть . 5
- Василий Долгих. Вынужденная посадка. Рассказ-быль 46

НАШ СОВРЕМЕННИК

- А Геннадий Емельянов. О людях, которые не обманывают свою работу 52



ПЕРВЫЕ СБОРНИКИ МОИХ ТОВАРИЩЕЙ

Любовь Никонова. Три имени 70

ИСКУССТВО

Валентина Ляхова. Путешествие в страну волшеб-
ников. Заметки о сказке на сценах театров Кузбасса . 75

ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ

Николай Карев. Зимние встречи 80

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Владимир Матвеев. Из цикла «Парадоксы и пере-
смешки»: Коровьи вздохи. Очередь на квартиру. Дети в
городском дворе. Модное кафе. Открытие в совхозе. То-
варищеский суд. Голосистая анатомия. Баня с копытю 83

*На первой странице обложки: «Таежный пейзаж». Фото
В. Люленкова.*

*На второй странице обложки: участница XXII Олимпий-
ских игр гимнастка из Ленинска-Кузнецкого Мария Филато-
ва. Фото Ю. Сергеева.*

Рисунки Г. Захарова, Я. Полуэктова

Редактор В. М. МАЗАЕВ

Редакционная коллегия: В. М. Баянов, Г. А. Емельянов,
И. М. Киселев, В. Ф. Куропатов, В. Ф. Матвеев (отв. секре-
тарь), В. В. Махалов, З. А. Чигарева, Г. Е. Юров.

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр. 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14.

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Л. В. Глебова; художественный редактор
А. С. Ротовский; технический редактор Г. Н. Манохина; кор-
ректоры А. Г. Ерофеева, Е. И. Тимошук

Сдано в набор 8.08. 1980 г. Подписано в печать 4.10 1980 г.
ОП10361. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 1. Пе-
чать высокая. Усл. печ. л. 6,44. Уч.-изд. л. 8,4. Тираж 5000.
Заказ № 13983. Цена 55 коп. Кемеровское книжное издатель-
ство, Кемерово, ул. Ноградская, 5. Полиграфкомбинат, Ке-
мерово, ул. Ноградская, 5.

70500—48
0 — 31—80—4702000000
М 145(03)—80

© Кемеровское книжное издательство, 1980



Геннадий Юров

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

* * *

Что даровано от бога?
Только родина да мать.
Только память да тревога.
Только жажда даровать.

Только странствий зябкий климат
Да утраты за спиной...
Но однажды люди примут
Сотворенное тобой.

Звук и отзвук различая,
Божьим даром назовут
После долгих лет отчаянья
Счастья несколько минут.

* * *

Вот опять ощущает строка
Притяжение знакомых предгорий,
Где река —
Как полет родника,
Пожелавшего встретиться
С морем.

Вот опять в сочетанье простом
Голос времени
Я различаю.
И звучащее ласково — Томь
Мою строгую рифму
Смягчает.

Древний предок
На камне крутом
Высек легкую поступь оленя,
Прошептал восхищенно:
— Т-о-о-м! —
И, шаманя, упал на колени.

За огонь,
Полыхнувший из тьмы,
За удачу
В охоте иль битве
Он молился.
Должно быть, и мы
Упомянуты были в молитве,

Потому что он жив,
Тот олень,
К нам домчавшийся через эпохи.
Не его ль разветвленная тень
Пролегла,
Обозначив истоки?

ЯЗЫК ЦВЕТОВ

1.

Цветы — от рос поры весенней,
От дуновения тепла,
От легкого прикосновенья,
Которое несет пчела.

Люблю, когда в таежном мраке
Неунывающе яркие,
Как восклицательные знаки,
Встают из согры огоньки.

Взлететь стремится к небосводу,
Как крылья, лепестки раскрыв,
Стихотворение природы,
Ее лирический мотив.

Страницы милые листаю
И понимаю алфавит...
Листою,
Травами,
Цветаи
Земля со мною говорит.

Цветы — от гроз,
Цветы — от ливней...
Их время не сожжет дотла.
И в человеке неизбывней
Цветы душевного тепла.

2.

Пусть не всегда приносят счастье
Среди житейской маеты
Цветы пристрастности,
Участья,
Доверчивости,
Доброты.

Цветок затоптан, изувечен.
Но возродится лик его
От светлой строчки,
Светлой встречи
И неизвестно, от чего.

Ростки незримые восходят,
Которым выраженья нет.

Мы мучаемся и в природе
Находим им эквивалент.

И каждое души движенье
Обозначая день за днем,
Несем цветы на день рожденья
И на могилу их кладем.

Нам навсегда необходимый,
Неуловимый в голосах
Язык цветов земли родимой
Жив в человеческих глазах.

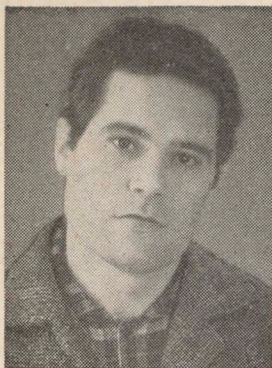
Несу дыханье медуницы.
Не надо слез.
Не надо слов.
Хочу с тобою объясниться
На точном языке цветов!

* * *

Какому зову ныне внемлю?
О чем несуетная речь?
Открыть неведомую землю?
Да нет!
Родимую сберечь.

А что доверю я тетради?
А что доверит мне
Тетрадь?
Слов изначальных не утратить.
Мелодию не потерять.

И в перестуке новых станций
Какой удел зову судьбой?
Найти себя? —
Да нет!
Остаться
Самим собой,
Самим собой.



Геннадий Естамонов

ЗДЕСЬ Я ЖИВУ

ПОВЕСТЬ

БАБКА

Бабка, бойкая и расторопная, выходила меня своими руками. Руки у нее — узловатые, в синих прожилках, а крупные вены выступают так сильно, словно сверху наложены и чем-то приклеены. Когда я трогал их, они перекатывались под кожей, не давались и были мягкими, как перезревшие ягоды шиповника.

Она вынянчила, вырастила семерых своих детей и еще с внуками повозилась. Моя мать — младшая дочь, и, судя по тому, как бабка меня жалела, была, наверное, любимой. При родах пытались спасти, помогали мамке — тянули меня щипцами, поэтому у меня такая продолговатая, наподобие еловой шишки, голова. Умерла мамка.

Я же остался жить себе и бабке на горе.

Ощупывая свою нескладную голову, пытался отыскать ямки, которые должны были бы остаться от щипцов, но не находил, а руки непроизвольно задерживались на больших, отвислых, как у овечки, ушах. Кто знает, может быть, тянули все-таки меня из мамкиного чрева за уши? Отчего же они такие длинные?

...Лесничка у меня бабка. Ранней весной, едва усядет снег до щиколодок и прогалинки забугрятся чернотой, — фуфайчонку на себя,

пояском потуже, котомку с куском хлеба, с луковицей и сольцой на плечи и — в лес. Что там делать в такую рань? Глядь: вечером несет котомку, полную кедровых шишек, кряхтит, а рада. Шишки влажные, озябшие не меньше, чем бабка, с раскрытыми чешуйками-лепестками, вот-вот выпадут потрескавшиеся орешки. У некоторых зеленый клювик наружу, как у гороха на подоконнике под марлей. Я их экономно таскаю: ядрышки вкуса необыкновенного, куда там проросшему горошку — на него теперь не посмотрю даже. А кедровая веточка, что беличий хвостик, — пушистая, ласковая. Зажмурив глаза, водишь лицом по ней и, кажется, забираешься на высокий-высокий кедр, под облака. Бабка-то как на деревья лазает? Она, оказывается, на земле собирает шишку-падалицу, морозом и ветром отбитую.

Нагрузишься орехами, аж тяжело дышать, и начинаешь на бабку дуться. Когда с собой в лес возьмет? Почему не разбудила? Бабка улыбается. Подожди, потеплеет — не уйдет от тебя лес. Дождется. Гладит, а руки мягкие, лесом пахнут: смолой, грибами, прелой травой. Целовать бы их...

Бабка со своим семейством, которое кормилось около нее, как цыплята возле клушки,



жила лесом. Дед любил выпить, делать, кроме ребятишек, ничего не умел, и надежда на него не ахти какая.

Дети росли, дочкам требовались наряды. А

где их взять? Выручал лес. Сначала кедровый орех-падалица, прошлогодешний, потом колба, луговой чеснок, лук, грибы, ягоды с середины лета и потом уж орех, нынешний. Лесную добычу «сплавляли» на базаре, бабка подсчитывала выручку, кумекала, что и кому из дочерей... И снова в лес, пока не разобрали ягуду всякие городские бездельники.

Со временем бабкино семейство сильно поубавилось: сыновья разъехались, дочки повыскакивали замуж, деда схоронили, и осталась она с моей мамкой-поскребышем. А тут откуда ни возьмись явился я. И горе бабке, и радость.

Мне с самого начала не везло. Родился раньше положенного на два месяца. Что хорошего? Ничего. Поместили меня в термокамеру. Из одной темницы в другую. Пробыл какой-то срок, я ведь не помню, и с шумом — вручили бабке. Меня хотели еще поместить в малюткин дом, но она налетела коршунницей, замахала руками. Ни в какую!

Бабка держала меня на печи в дедовой зачьей шапке. Хорошо, что шапку сохранили, — вот пригодилась-то.

Когда я подал первый раз голос, мне девять месяцев исполнилось, и бабка от великой радости чуть было не уронила меня с печи. Не уронила — хорошая примета. Значит, жить будет. Так оно и случилось.

Я заболел. Болел долго и мучительно. То изводили поносы — бабка не успевала стирать пеленки; то чуть не умирал от запоров. Сколь болел, столь и лечила меня терпеливо бабка. Сам я не помню, но из ее рассказов ясно и живо представляю: вроде не бабка, а я сам все это время лечил себя от разных недугов, а они навалились на меня, как отощавшие клопы в душную темень...

С тех пор, как я стал осознавать свое наличие в этом мире и помнить, — тоже все время болел. Большой живот, тонкие, что палки из плетня, ноги, пупыристая, как у общипанного гуся, кожа, продолговатая голова делали меня непохожим на других обитателей дома, какими были мои старшие братья и сестры, приезжавшие со своими мамками к нам на лето.

Такой большой и выпирающий живот еще

только у тети Оли был, но она на сносях, как объяснила Римка, назвав меня бестолочью за то, что не понимаю, как «выраживают детей». Но я все же догадался, что скоро у меня будет еще братик, он у тети Оли в животе пока.

После наших с Римкой разговоров долго не мог уснуть. Затаив дыхание, прислушивался, трогал, растягивал свой живот, и мне становилось жутко: вдруг у меня там тоже какой-нибудь братишечка. Засну, а он выродится ночью потихоньку. Тогда меня засмеют совсем, загуркают братья, как слепого котенка, которого они палками топили в уборной. Когда я стал заступаться и жалеть маленького, они этими же палками тыкали меня под мышки и делали щекотно. Все смеялись. И я тоже.

Братья любили поиграть со мной. Терпеливо, даже с некоторым интересом, я участвовал в их затеях. Играем в «холодно-жарко». Один не жалеет собственный кусочек листовенничной серы, прячет в моей голове, прижимает, приглаживает волосы. Другой долго ищет, находит, отдирает — больно. Тогда предлагают вырезать ножницами. Соглашаюсь. Выстригают, смеются, чуть не падают. Я видел, как Римкин папа стриг барана, не смеялся, строгим был, время от времени только баран приподнимался и жалобно бэ-э-кал...

Бабка ругала за такую игру, а то шлепала некоторых. Старенькие руки ее еще крепкие. Братья поднимали визг. Тетки заступались. Кричали на бабуку, друг на друга и на своих детей. Забывшись, какая-нибудь из них орала, что из-за своего недоноса она готова живьем съесть нормальных детей. Потом шум неожиданно, как и начинался, стихал, и долго после этого никто друг с другом не разговаривал, будто все онемели. Стоило ли шуметь?

Один раз братья привязали мои ноги к табуретке, заговорили, варенья дали (знали мою слабость). Увлечся сладким, а они разбежались по комнатам и велют искать их. Я вскочил и упал вместе с табуреткой лицом об пол. Нос не разбил, погнул только, с тех пор растет он куда-то в сторону. Да еще по ночам стал мочиться. Закричу иногда во сне, бабка подхватится в испуге, а мы уже мокрые...

— Ох, взглянул кто-то, — запричитает она, —

сглазил кто-то тебя сынок. Зашаркает спустившись с печи, зашебаршит, зашепчет что-то, приготовляя мне травку. Ее и разные коренья собирала она в лесу между делом. И потчевала не одного меня. Бегали к ней бабы и девки с разных улиц, отбоя бы не было, если бы к тому же она верила в бога. Но бабка не верила во всевышнего, чем отпугивала и настраивала против себя старушек. Не веришь, ну и не верь. Так она еще хулить начнет бога. Говорит, что это сказка для дурачков и выживших из ума старух. Какая-нибудь шипит, бывало, нам вслед: «Колдунья, вот бог и наградил таким уродцем». Я оглядываюсь на старуху, та тычет в небо пальцем: «Он все видит!». Бабка тянет меня за руку, а я спрашиваю: «Кто видит-то?». Вздохнет она: «Никто не видит, сынок». «Врешь, бабка, — говорю ей, — бог видит».

— Замолчи, паршивец! — рассердится она. — Если бы он видел что-нибудь, взял бы Митрия, а Максимушку оставил!

Притихнет, задумается, совсем старой делается. Жалко мне ее станет, молчу, не лезу к ней больше с вопросами, лучше уж с Римкой поговорить, та хоть и сердится на мою непонятливость, но объясняет все.

У бабки три сына. Два военных и один пьяница. Максимушку, про которого она говорила, дядю Максима, на Дальнем Востоке японцы убили, а Митрий, светлая головушка, дядя Дмитрий — пьяницей сделался. Бабушка говорит — горьким... Живых я их не видел, по фотокарточкам только знаю. Бабушка, протирая рамки, обо всех, кто там есть, рассказывает.

— Бабка, а зачем у нас икона с божьей матерью? — спрашиваю, когда она, добравшись до переднего угла, вытирает полочку, в золоченой рамке икону: — Бога-то нет.

Она присаживается, долго и грустно смотрит на меня не мигая (похожая очень сейчас сама на божью мать). Бережно держит в руках не икону, а собственный портрет.

— Есть он или нет, — говорит, наконец, бабка так, словно спрашивает, — а матери: божьи ли, человечьи ли, скотины какой, зверя ли страшного — всегда есть матери. — Вдыхает, трудно поднимается. — Память ма-

тушки моей, тем и дорога икона. Я ведь когда-то была такой же глупенькой, как и ты. Вытираю вот, а перед глазами матушка... живая стоит.

Мои братья-выдумщики, умные сестренки, наши мудрые разговоры с бабушкой были позже. Сначала был лес. Он ошеломил, оглушил и разбудил меня, маленького зверька, после тесной клетки...

Вверху шумно-зеленое с синим, машущее и плывущее, внизу цветное, яркое, напоминает кусок материи маи. А вокруг непрекращающееся жужжание и свистень, какие-то радостные и дружеские, и сам я один из обитателей: копошащихся, ползающих, прыгающих, летающих. Таким запомнился мне лес в самый первый раз. Он не был лесом, в котором я бывал позже: то тревожно шумящим,

то печально-таинственным, пугающим треском сучка под собственными ногами. Тот, ранний, какое-то чудо переводной картинки.

Тогда бабушка после долгой зимы, устав от холода и моих болезней, от того, что не поправляюсь и не умираю, как все нормальные дети, в самый жаркий, ясный день принесла трехлетнего с небольшим рахитика в пригородный лесок, похожий больше на заброшенный парк, чем на тайгу, к которой привыкла сама.

Бабушка говорила, что выпустила меня в том лесочке. Заковылял с выпученными глазенками, и казался ей то маленьким лягушонком, то большим кузнечиком-кобылкой, то голым птенчиком, выпавшим из гнезда...

С того времени начал я поправляться. Лес был во мне, лес лечил и звал.

РИМКА

...Еще как помню себя, всегда помню Римку — соседскую золотушную девочку. Она была заботливой нянькой, первой защитницей и всезнайкой. О чем бы ни спросил — все знает.

— У тети Оли пузо больше моего. Она рахитик?

— Смешной! Она же на сносях. Ребеночек у нее там.

— А меня в капусте нашли.

— Нет, нет, — возразила Римка, — и тебя из животика выродили. Всех!

— И бабуку?! — ужаснулся я.

— Не знаю...

— Вот видишь! Значит, не всех.

— Маленьких дитев — всех!

Лицо у нее в болячках и коростах, не успевают заживать, сковыривает их Римка; когда подрос, я стал помогать ей в этом занятии. От бабушки нам влетало, если захватывала за ним.

Римка была меня старше на три с половиной года, такая умная и со мной не стеснялась водиться. Ей даже нравилось командовать мной. Не так, как другие: ать-два, туда-сюда. Римка объяснять любила, рассказывать, иногда просто шепотком. Рожи корчить любила.

...Утром я бежал за сарай. Потом присаживался недалеко на корточки, приваливался к теплым бревнышкам старенькой стайки и, зажав глаза, обращал лицо к солнышку. Лучи его осторожно ощупывали щеки, касались ушей, мягко щекотали глаза, стараясь проскользнуть под веки, но я сжимал их крепче, погружаясь в темную пелену не ушедшего еще совсем сна, теряя представление о времени, о себе. Я был родным братом нашего дряхлого, вечно дремлющего кота Тишки.

Забывшись, приоткрывал веки, и солнышко сразу напоминало о себе. Стараясь обмануть его, складывал в решетку пальцы и оттуда поглядывал, но оно тут же догадывалось о моей хитрости, врываясь ярким снопиком в ладошечное оконце. Тогда я доставал из бревенчатой щели темное бутылочное донышко и смотрел сквозь него. Солнышко хмурилось, угасало, но стояло лишь на миг отодвинуть стекло, оно, будто в отместку, ослепляло глаза...

Так я играл с ним в полусне, в полудреме, пока не прибежала Римка. Она становилась напротив, закрывала худенькой спиной яркий свет и ждала, когда я открою глаза. Мне хотелось еще поиграть с солнцем, но Римка бы-

ла сама, как солнышко, которое никогда от меня не пряталось, если мы не играли в прятки. А солнце пряталось за тучи, иногда так надолго, что, казалось, насовсем.

Я открывал глаза, смотрел на рыжеволосую, растрепанную Римку и улыбался.

— Поискав? — спрашивала деловито Римка.

— Угу, — кивал я головой, — давно.

— Тогда я, — она бежала в то же место, под лопушки, и скоренько там журчала.

Потом умасливалась рядышком, доставала из трусиков обломок коричневой гребенки и начинала приводить себя в порядок. Делала она это так же, как мои тетки, сестры, моя бабушка. Наклоняла голову вниз, волосы падали, закрывая лицо, а Римка долго водила по ним восьмизубым огрызком, мурлыча под своей рыжей копной что-то одной ей понятное, похожее все-таки на песню. Ей нравилось заниматься этим, а меня брали завидки. Я незаметно трогал свои короткие волосики. Не растут нисколько. Если бы у меня были такие же длинные волосы, я выглядел бы куда лучше. Может быть, как Римка, может, красивее. Не выпирала бы наружу, как пятка из дырявого валенка, голова. А так, без волос, вся на виду.

Просачиваются сквозь Римкины волосы солнышкины лучи, как сквозь желтенькую водичку, а она бормочет там, как ручеек, рассказывает сон, который видела «только сейчас».

— Кашей за мной как погонится, я от страха язык потеряла. Хочу крикнуть...

— Кашей — это который в конце улицы живет?

Римка отбрасывает волосы, смотрит недоважно на меня из-под лба. Перебил на самом интересном месте. Вдыхает тяжело.

— Ох, и серый же ты!

— Я не серый, а темный — в мать, — поправляю ее. — Я ведь не говорю, что ты серая, если ты рыжая.

— Совсем не рыжая, а каштановая. Ты будешь слушать?

— Буду.

— На чем я остановилась?

— На Кашее, который живет в конце улицы...

На улицу мы с Римкой не ходили. Ребята были там все дразнили, задиры и драчуны. Увидев меня, кричали: «Недоносок! Недоносок!». Римка бросалась на обзывальщиков, царапала им лица, шею. Они таскали ее за косы, а я стоял и не знал, что мне делать. А смотреть, как они хватают ее за солнечно-рыжие пряди, было страшно и больно. Когда же я спросил, зачем они так делают, меня повалили и натыкали мордой в траву, которую мы рвали с Римкой для свиней. Травы была безвкусная, как старая репа, а они заставляли ее жевать.

Да ну их! У нас места и во дворе хватало, а интересного было куда больше, чем на длинной и чужой улице.

В прохладном запашистом свинарнике вопиюще хрюкали свиньи. Римка смело лезла за перегородку, толкалась возле них, покрикивала, как настоящая хозяйка, похлопывала или почесывала бока. А им только того и надо! Разлягутся, довольные, словно короли какие. Римка хвостики на пальчик крутит, потому что у них спиралькой, уверял я себя тогда.

За перегородку не лазал, хоть Римка и заманивала меня туда всячески. Боялся. Свиньи могли съесть. Почесывал только тех, которые укладывались поближе, и я, просунув между жердями руку, мог дотянуться до них. Хотелось потрогать пяточек, похожий на донышко фарфоровой чашки, но я никак не решался — очень близко с ртом. Хамкнет — и пальца нет. Они же знают, что я не Римка.

В огороде, чаще всего на картофельной ботве, мы собирали божьих коровок. Сколько их, а пятнышки на спинке у всех цвета разного. Брели их осторожно. Лучше стряхивать с листочка, и они разноцветными каплями падают в ладошку. Долго затаиваются, притворяясь мертвыми. Только спустя некоторое время, убедившись, что мы их не едим, начинают воскресать: вздрагивать, пошевеливаться, а потом ползают смело. Мы же с ними ничего не делаем, только просим молока. Склонимся лоб в лоб над ладошками и твердим:

— Божья коровка, дай молока! Дай молока!

Подождем, подождем и снова за свое:

— Божья коровка, дашь молока — улетить под облака!

Долго просили, и они оставляли желтенькие, как постное масло, капельки. Вкусна-а!

На углу сарая, под свесившимся дерном, я обнаружил чье-то гнездо. Оно походило на половинку рыбьего пузыря, только намного больше. Должно быть, у акулы такой плавающий пузырь. Пчелы? Римке не сказал о своем чудесном открытии, чтобы потом сразу удивить. Незаметно от нее поймал зазевавшуюся пчелку. Пчелка сердилась, гнула свою волосатую спинку — не хотела давать мед. Надо высосать, и я поднес ее остренькую попку к языку. Она не поняла моих намерений, думала: укушу ее, что ли, так жиганула меня, словно раскаленной иголкой ткнула, кругом все поплыло, потом потемнело, будто солнце выключили, как электрическую лампочку, и я ухнул в крапиву с воем. Римка вытянула меня оттуда и еще говорит:

— Так тебе и надо! Не будешь лазить где попало.

Я потерял всякое соображение, крутил головой, хватал воздух, а во рту рос язык, его надувало изнутри...

После этого случая я долго обижался на осу. Ужалила-то оса, сказала потом Римка. И на все, что летало, прыгало, ползало, я стал смотреть с некоторым опасением и подозрительностью.

Еще раньше, когда я был совсем маленький, играя в прятки, залез от Римки в высокую траву. Она бы меня не нашла во веки веков. Но крапивная трава выжила, выполз я из нее со словами: «Куса-е-са, за-ла-за!». А после случая с осой я понял: все защищали себя, как могли.

Ох и выдумщица Римка! Что ни день, то новая игра, но больше всех мне нравятся прятки, двенадцать палочек, лунки и еще всякие. А сколько она знает считалок, просто жуть! Самое интересное — считаться. Начинает Римка — я за ней повторяю, пока не zapomню.

Шла кукушка мимо сети,
Ей попались злые дети.
Кук-мак, кук-мак,
Убирай один кулак.

Считаю громко, с восторгом. Римке гоить неохота. Она медленно идет к углу стайки, а мне скорей бы спрятаться, даже забыл от нетерпения, куда лучше всего забраться. Римка вдруг поворачивается.

— Не подглядывай! — ору я.

— А я новую считалку знаю, — сообщает Римка равнодушно.

Я так и замираю с открытым ртом. Это повторяется каждый раз, как мне прятаться. Начинаю просить новую считалку, а она угоривает прятаться. Мы упраниваем друг друга, пока не сдастся Римка.

— Из-под печки две дощечки. Хлоп! Вышел поп!

Ничего не поделаешь. Гоить не хочется, но зато знаю новую считалку.

— Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать! — кричу громко и замечаю, как за углом стайки мелькает Римкино платьице. Лезу на сеновал и в щелку наблюдаю, что будет дальше. Жду долго, терпение мое вознаграждается. Римка выглядывает осторожно из-за стайки, осматривается и что есть духу несется застучиваться.

— Тук-тук! — громко и радостно произносит она.

Я молчу. Подождая, она снова кричит.

— Чика-чика! Леша, я застучалась.

Стучи себе на здоровье. Торопиться мне некуда, подожду. Когда Римке надоест звать и ходить кругом, я откликаюсь.

— Ты где? — крутит она головой.

— А ты где? — спрашиваю я, спускаясь по скрипучей подставной лестнице.

— Я здесь! Ты что, Леша?

— И я здесь. А ты что?

— Ну, ты же голишь! — Римка улыбается.

— Ладно, — соглашаюсь, — только давай новую считалку за так. Не за голики.

Римка радостно и звонко смеется.

— Наконец-то догадался, что его «надувают». Долго же!

То ли у Римки считалки кончились, то ли она еще что-то придумала, только не заметил я, как перешли мы на стишки. А когда запомнил несколько, Римка объявила мне, что это вовсе не считалки, а стихотворения. В дока-

зательство она принесла книгу для чтения и сказала: «Здесь все, что мы выучили, записано».

Я был поражен. Видел и слышал раньше, как читают взрослые и старшие братья и сестры, и все проходило мимо меня. А Римка мне глаза открыла на такое чудо.

— Да ну, — не поверил я, — почитай-ка!

И Римка стала читать: «Мистер Твистер, бывший министр. Мистер Твистер — миллионер. Мистер Твистер едет туристом в СССР».

Я молчал, а воодушевленная вниманием Римка все читала и читала...

Каким же надо быть умным, чтобы уметь читать, а еще, наверное, умнее — писать!

— Да, — ошалело и подавленно произнес я, — мне так никогда не суметь.

— Чудак, еще как сумеешь! — ободрила она. — Хочешь, буду учить.

С того дня Римка в любое время, когда ей хотелось, могла превратиться из доброго товарища в строгого учителя.

Она с таким веселым упорством вдавливала мне азбуку, что я, невольно заражаясь ее интересом, принимал все это учение за новую игру.

ЛЕС

К пяти годам заметно опало пузо, подпрыгнули ноги, и я неожиданно быстро — в самую стужу, когда спят даже деревья, — потянулся вверх.

Лето и осень занималась со мной Римка азбукой. Все буквы от А до Я запомнил скоро, но вот слова складывать не умел. Как ни билась со мной Римка, как ни поучала зимой бабка — толку никакого, не мог что-то сообразить.

Зато в счете я преуспел. От радости такой бабка махнула на азбуку. Пусть занимается ею Римка. Бабка гладила мне макушку и приговаривала:

— Ну какой же ты... только дурные люди могут говорить... дурное. Светлая у тебя головка! Светлая!

После ее похвалы я начинал даже сам себе нравиться, и, если бабка просила посчитать (а просила она часто), то делал это с превеликим усердием. Счет без запинки напоминал стихотворение или считалку, после которой никто не голит. До ста считал без перерыва, без роздыха — одним махом. Если бабка бывала очень довольна, я продолжал дальше с пересохшим ртом, с остановками, но все равно до тех пор, пока она не говорила:

— Ну отдохни, сынок, отдохни!

Я облизывал губы, переводил дыхание и твердил, как заведенный:

— Я могу еще и еще...

— Можешь, можешь, — соглашалась бабка

и смотрела с каким-то печальным удивлением.

Я уже складывал и вычитал до десяти, складывал и вычитал десятки, а прочитать хотя бы одно слово не мог. Правда, я умел писать, вернее, рисовать печатными буквами некоторые слова, но это делалось по памяти, не от ума.

Как-то, тяжело вздохнув, Римка сказала:

— По арифметике ты способный, но читать надо учиться, хоть по слогам. Я уже в пять лет читала.

После этого я Римку еще больше зауважал. Надо ведь, а мне уже пять — и не умею.

Прошла зима. Вроде морозов не было. Да и где им взяться-то, на печи. Солнце целыми днями резвилось в небе, как выпущенный на волю щенок, и натворило такого, что на две весны хватило бы — растопило за неделю весь снег. Он не убежал, не испарился, а пропитал обильно землю, превратив улицу в непролазную черную кашу. Люди прижимались к самой оgrade, хватались за частокот, прыгали по жердочкам и зольным зимним кучам, ругали распутицу и все равно были по колено в грязи...

Совсем недолго осталось до той поры, когда бабка, в награду за ученье, возьмет меня в настоящий лес. Не просто шляться, а помогать ей. Ведь лес — наш кормилец и поилец.

Так и не научившись читать за все это время, мы отправились в лес вдвоем.

Встали рано утром. Я долго не мог продрать глаза и сообразить, что надо от меня бабке. Потом шли синей гулкой улицей на железнодорожный вокзал. Я продрог и, когда сели в поезд, прильнул к теплой бабке. Она тут же растолкала, я недовольно бурчал, но, к моему удивлению, мы уже приехали.

Вылезли на лесном полустанке с двумя черными домишками, перебрались через рельсы и по колеистой размягшей дороге вошли в лес.

Стоял туман, и деревья просматривались, как сквозь матовое стекло. Бабка шла ходко, тянула меня за руку, а я, глаза по сторонам, часто спотыкался.

Лес меж тем просыпался, оживали невидимые птицы, наполняя его свистом, щелканьем, трескотней. Туман приподнялся и, если нагнуться чуть-чуть, то далеко просматривалась светло-зеленая дорога, убегающая вниз, с черными размазанными полосами наезженной колеи. С маленькими игрушечными листочками резко просвечивали березы на темно-зеленом фоне опирающихся о землю широкими лапами елей; серебрились стволы осин с длинными бордовыми сережками, похожими на лохматых гусениц, каких мы находили с Римкой в огороде; краснели прямые, как стрелы, ежистые прутья шиповника с пучками беловатой зелени у верхушек; замшелый черный пенек, как старичок, вытянув ноги-корни, притулился у самой кромки...

Дорога спустилась в лог, и мы остановились на побитом, старом мостике с двумя прогнившими бревнышками; под ним, если затаить дыхание и прислушаться, журчит ручеек.

— Немного перекусим, — сказала бабка, перевызывая платок, — водичка здесь родниковая, льдистая, — сняла котомку. — Замерз? Устал?

— Не-е... Жарко! — «Не», а ноги подламываются.

— Привыкай... Сейчас взойдет солнышко.

И, словно услышав бабкины слова, зазолотились на бугре верхушки сосен, сверкнули прожектором лучи, и оранжевое, еще не горячее солнце стало медленно приподниматься из-за леса, как будто его оттуда кто-то выталкивал.

Туман вдоль распадка пошел на убыль и, пока мы перекусывали, незаметно рассеялся, словно сквознячком втянуло его в темное русло ручья. В кустах через равные промежутки какая-то пичуга усердно выговаривала: пь-ю, пь-ю, пь-ю. Перебивая ее, взбалмошно трещали дрозды, потревоженные нашим присутствием, прыгая невдалеке на ветках воинственно и безбоязненно.

На острие высокой ели молчаливо и высокомерно покачивалась сорока в белой рубашке, в черном пиджаке, небрежно, как показало мне, наброшенном поверх.

В таежном редколесье, на игрушечных полянках, прогретых и просушенных солнцем, тянулась колба, обгоняя и заглушая все другие травы. Ее было такое множество, а росла она так тесно и густо, как салат на грядках. Но там же грядки, не поляны. Кто щедрой рукой разбросал семена, взрастил, выполол сорняки, поднял и расправил широкие, нелуковые стебли ее, наполнив их обильно сладковато-чесночным соком и запахом лука?

Для меня, как для любого сибиряка, колба — не чудо, привычна она на весеннем безвитаминном столе и вот поэтому, наверное, любима, что она — первый щедрый таежный дар. А вот видеть, как растет колба, собирать и есть, еще мокрую от росы, прохладную, прямо с корня, — диво...

После леса случилось маленькое происшествие. Распродав быстро колбу — даже ни один миллионер не успел нас «попросить» — у магазина запрещали торговать единоличникам, — решили заглянуть в продуктовый, в тот самый, с которым несколько минут назад мы с бабкой так бойко конкурировали.

Магазин был одноэтажный, в четыре окна на улицу, выкрашенный весь зеленым, даже крыша замшела зеленью; в три ступеньки, большое, как танцплощадка, крыльцо, а над ним зеленая вывеска, где коричнево напечатано: «Продтовары». Я даже обалдел. Поставил ногу на ступеньки, поднял голову просто так, по привычке, читать не собиравшись, не умел же, и вдруг прочиталось: «Продтовары».

— Бабка! — закричал, показывая рукой на вывеску, — это же «Продтовары»!

Бабка изумленно остановилась на крыльце.
— Чего кричишь, как оглашенный? Продтовары. Конечно, продтовары, нам ресторан надо, че ли?

— Да нет же, — огорченный ее непонятливостью, орал еще громче, — продтовары это!

У бабки округленные глаза начали слезиться, лицо принимать доброе и жалостливое выражение, такое лицо у нее бывало, когда я болел.

— «Продтовары»! Написано!

— Написано, написано, — качала головой, вытирая уголком платка свои глаза.

— Эх, ты, непонятливая, — радостно воскликнул и побежал к ларьку. — Смотри: «Ларе-кк!» Ларек! «Же-ле-з-но». Железнодорожного У-Р-Са. «УРСа»?

Бабка моя оживала, румянилась радостным удивлением.

— Да неужто читаешь?

— Ага! Смотри, — на той стороне улицы была вывеска, и я с упоением прочитал: — «Па-рик-к-ма-хрен-ска-я!» Парикмахерская!..

Она купила мне в тот день дорогую и шикарную, всю в цветных картинках, книгу. Глотая от волнения слюни, прочитал: «Путешествие Гулливера».

Римка, бабка и лес научили меня читать. После леса, просветленный и обостренный его красотой, познал премудрости словосложения, радость чтения. После леса хотелось молчать, думать, вспоминать...

Раздумывая, однажды неожиданно для себя понял: лес с самого низа, с земли, с травы, муравы и до вершин деревьев, и даже выше, переполнен живым. Копошатся, ползают, прыгают, летают много-много очень маленьких-маленьких и больших существ. Зачем они? Кто они? Как они? Вопросы эти жили во мне, как букашки в траве, которых я часто разглядывал; они не тревожили, не беспокоили, наполняя меня каким-то постоянным, радостным ожиданием. Ожиданием новых чудес и открытий.

Так я заметил, что совершенно разные существа обладают некоторым сходством: у зем-

ли они все черного, коричневого, темно-синего, темно-зеленого цветов; выше, в траве окраска просветляется; еще повыше однотонность начинает пестреть, а еще выше, оторвавшись от земли, выбравшись из путаницы трав и кустов, взяв цвета неба и голубых туманов, дремлющих от зноя деревьев и кустарников, собрав все краски цветов и трав, порхают, летают существа с такой неожиданной расцветкой — вздрагиваешь пораженный, дух захватывает от красоты. Надо же! Такое постоянное удивление живет во мне еще лишь тогда, когда вижу радугу...

Бродишь в лесу, забыв все на свете, котелком позвякиваешь, как спутанная лошадь боталом, бабка специально привязывала к нему кружку.

Устану, лягу под куст и наблюдаю за букашками, незаметно опорожня котелок, куда бабка подсыпает ягоды, чтобы от других не было стыдно. А букашки-то все разные, как-то понимают друг друга. Хоть какой-нибудь звук-писк услышать.

И все-таки самые интересные — муравьи: копошатся, трудятся, куда-то торопятся, все бегом, как бабка моя. Понимают друг друга каким-то макаром, а сколько ни прислушивался — ничего слыхом не слыхивал, но замечать, как переговариваются, — замечал. Друг друга мордочкой потыкают и потопают за добычей.

Глядь — тащат какого-нибудь кородея, надсажаются, а другие на помощь спешат. Все вместе — легче...

Очнешься, когда по дну котелка пальцы заскребут, вздохнешь — пора подниматься. Снова весело звенит котелочный колокол, здесь-то и подскочит какая-нибудь тетка, обругает за то, что молчал, — «дурачка строил». Братья похихикивают. Они-то от своих мамань не отстают. А какого я видел золотисто-бронзового жука — им вовек не увидеть, хоть всю жизнь в лесу проживут. Рассказать, Римка — и та не поверит! Спросит: «Почему не принес?». Зачем? Пусть живет.

ШКОЛА

Кончилось лето, а с ним и мое короткое лесное счастье. Наступила зима, самая долгая, холодная и злая.

Еще осенью выяснилось, что мне надо в школу. Ходить по незнакомым улицам, когда я своей боялся, быть с чужими ребятами, когда мне наши, уличные, надоели. Я пробовал уговорить бабушку, что школа мне ни к чему и вообще в такое время лучше сидеть дома. Но бабушка уперлась: «Учиться — и все тут!»

Мои опасения оправдались. В школе было холодно, перемерзли батареи, занимались в пальто, стыли чернила и пальцы.

Учительница, сухая и желтая, с желтой лисой на шее, скрипучим от простуды или табака (она курила) голосом объясняла словообразование, заставляла всем классом повторять за ней слог за слогом...

К семи годам я бегло читал — не пропало все-таки даром Римкино упрямство. Бабушка любила слушать, когда я читал, заражалась моим интересом. Кто из нас испытывал большее удовольствие, даже трудно сказать, но ее неподдельное внимание и любопытство были для меня тихими аплодисментами. И уж тут-то я старался, не просто читал, а играл: жмурил глаза, махал руками, дергал ногами, тряс головой, и вместе со мной тряслась на печи бабушка, переживая, радуясь, негодуя до тех пор, пока не начинала задавать посторонние вопросы, отвлекающие меня от той роли, которую я старался перед ней изобразить. Я возмущался, начинался спор, но бабушка неожиданно соглашалась и тихо просила: «Ну читай, сынок, читай! Что там дальше?». И я снова начинал читать, медленно, нехотя, а потом все более и более воодушевляясь, забывая: и кто мы, и где мы. Если бы не бабушка, я давно бы свернул шею, упав с печи. Она всегда вовремя хватала меня за руку, а то и за ногу, или же оттесняла незаметно к стеночке, подальше от края.

До школы я научился складывать и вычитать в пределах тысячи так бойко, что восхищал торговков на базаре, и они одаривали меня, стараясь при этом погладить по голове, но

я бодался, не даваясь и не принимая подношений. Не терпел торговков, хотя все время сам торговал с бабушкой то на базаре, то у магазинов.

Я знал таблицу умножения и, весело повторяя ее, чувствовал какую-то таинственную закономерность, не понятую мной, как непонятны были мне: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, — распеваемые Римкой.

На уроках было неинтересно. Я скучал, глазел по сторонам, но всегда не забывал открывать рот, когда класс начинал нестройно орать слог или слово по команде учительницы. Один лишь раз забылся, замечтался или задумался, не знаю уж, только опростоволохился, и жизнь в школе после этого стала еще горше.

Разглядывая стену — она казалась снежным полем — вообразил себя муравьем, ползущим по бесконечным просторам, потерявшим под снегом свою муравьиную кучу — теплый дворец. Мне стало жалко себя — муравьишку — и страшно-страшно, как однажды в лесу, когда мне вдруг почудилось, что заблудился, тогда я кричал, перепугав бабушку, — она была рядом, за кустом...

Старый страх и новый, теперешний, слились, затопили, и я, непроизвольно вскрикнув, очнулся. Весь класс хохотал, радуясь возможности отдохнуть, особенно веселились те ребята, которые знали меня раньше, по улице. Они смеялись и кричали, что я чокнутый, недоносок...

С этого дня поехало... У меня столько появилось кличек, что трудно было упомянуть, но я помнил и даже отзывался на них. Головастик, Ушастик, Клинголова, Тыква, Ребро, Лопухий и еще как только не звали, на весь класс хватило бы прозвищ, но чаще всего — Недоносок. К этому я привык с малолетства, и оно не огорчало меня. Недоносок так Недоносок... Ну зачем придумывать еще?

Недоброжелательство ко мне росло с каждым новым прозвищем. На перемене старались незаметно толкнуть. Если же оставался за партой, то около нее обязательно устраивалась куча-мала, которая неожиданно сме-

щалась на меня. Кряхтел и ждал, пока куча-мала сама не распадется, но она крепкая, иногда целую перемену не разваливается. Ох, и весело же! После уроков, на улице, души отводили те, кто на переменах был в стороне. Считали долгом стукнуть меня по горбу сумкой, а кто посмелее — кулаком. Со временем это стало привычным.

Из школы я приходил усталым и несчастным. Во мне поднималась тихая ненависть к ребятам, учителям, ко всем на свете. Ненавидел порою и себя. Заглядывал в зеркало, придирчиво рассматривал тело, ноги, руки, так, словно все это было не мое, но в силу какой-то необходимости стало моим. Так рассматривают новый костюм, на ногах — сапоги, на голове — шляпу. Померяют, оглядят и отдадут назад. Но мне отдавать или менять нечего. Все было моим навечно: продолговатая голова с глазами-фарами, как у Римки; ресницы, опустивши их, и всем кажется — плачу; большой рот с пригнутыми книзу уголками губ; даже улыбаюсь и то кисло, а так — одна печаль. Ото лба до губ — длинный нос, изогнутый запятой, одна ноздря выше другой, будто постоянно приплюсываюсь к чему-то подозрительно. Все вместе — печальная, плаксиво-подозрительная физиономия. А фигура, фигура-то! Худой, ребрастый: подними рубашку — все ребра можно ощупать, как зубья на вилах, а задери ее на спине — позвонки наружу, как косточки на счетах, — ребята считали до двадцати двух, дальше штаны мешали.

...За что бьют после уроков? Ненавидят за что? Не ябедник, не подлиза какой...

Мороз на улице упал, а в классе теплее не стало, только углы перестали блестеть, потемнели. Учительница наша, из эвакуированных, продолжает кашлять и все о чем-то думать. Кашляет глухо, тяжело, даже у меня перехватывает дыхание и давит горло. Лицо желтое, глаза печальные, совсем запали, — ей, наверное, в нашем классе плохо, как и мне. Плохо, что никто не провожает, не встречает. Всегда одна. А мне плохо... что провожают, даже выпроваживают, а после уроков встречают...

Вон уже выглядывают, ждут за углом.

Можно сделать крюк, зайти в уборную, потом за нее — и в сторону, обойти засаду. Какая засада! Они, почти не прячась, приветливо поглядывают на мою понуро-обреченную фигуру.

Постоянных драчунов пять-шесть человек, остальные, как воробьи, поклевали немного сумками и разлетелись в разные стороны. Такую игру я готов принять, коль уж не жалко сумок, но эту, которая ожидает меня за углом, не хочу. И не она мне неприятна, а тот страх, та безысходность, которые живут сейчас во мне.

А вот и он. Выглянул всего лишь на миг, но этого достаточно, чтобы ноги одеревенели, еще ниже согнулись плечи. Он первый из этой неутомимой пятерки наносит удар и заканчивает последним. Ударить старается исподтишка, но как можно больнее, разбить губы, попасть в бровь (нос у меня небоющийся, никогда до крови не разбивали, сколько лупили — убедились; бабка говорит, что я малокровный, может — поэтому). Он — моя противоположность: толстенный, розовощекий, как деревянная матрешка. Бьет — еще пуще краснеет, а если плохо получается, злится чуть не до слез. Фамилия у него Пташкин, Эдик Пташкин, а поглядишь — настоящая сова, и поэтому мне казалось, что он питается птичками. На самом деле ел он булки, колбасу, сало, конфеты в золотинках. Когда на большой перемене нам выдавали кусочек хлеба с маленькой горкой коричневого сахара, Эдик доставал из своей командирской сумки аккумуляторный сверток, а свою порцию хлеба с сахаром отдавал кому-нибудь из ребят посильнее. У него всегда были заступники и должники. Ненавидел я Эдика страшно, больше всего за сумку: с железными, как на ошейнике, блестящими кольцами, за которые пристегивался кожаный ремень; с квадратной скобочкой, куда вставлялся металлический язычок застежки. Мне казалось, что сумка должна была принадлежать красному командиру, который воюет сейчас с фашистами. Без этой сумки драться неудобно с немцами.

— Ты че это корчил рожи на уроке? — начал Пташкин с вопроса, а не удара, как обычно.

Никаких я ему рож не корчил, посмотрел только и все. Я поднял голову. Он в это время мне «заехал» удачно, разбив губы. Обсасывая их, я готовился к новым ударам. Но их не было.

Раздалось пугливое и резкое, как удар бича: «Атас!» — потом плаксивое: «А-а-а!» И голос:

— Будешь вырываться, будет больнее! Ну, а ты? Мужик или облако в штанах?

Кто-то тряхнул меня за плечо. Пташкина

держал за ухо какой-то парень. Цепко держал, остальные убежать, видно, успели.

— Я какой раз замечаю, как тебя лупят. Не крутись! — это он Эдику. — Ты ябедник? Я улыбнулся, помотал головой.

— Тогда в чем дело? Они что, тренируются на тебе, удары отрабатывают?

— Не-е-ет! Просто я — Недоносок.

Но он ничего не понял, и я пояснил: — Ну, меня просто ненавидят в классе, ну и...

— Ну и что? Ты дерись, воюй! А ну, трахни его! Я посмотрю, есть ли у тебя руки.

ЧУЖОЙ ДОМ

Не знаю, что случилось со мной. Обида, отчаяние, боль прорвались сразу, я сжался так, как не сжимался от ударов и прыгнул с вытнутыми вперед руками к своему «палачу», его подтолкнул ко мне парень.

Руки мои ткнулись в лицо Пташкина. Он дернулся, схватился за нос и, размазывая кровь и слезы, неожиданно хлынувшие, завопил громко и жалобно:

— А-а-а! Я во-от ска-жу па-а-пе-е. Он ва-ам да-а-аст! А-а-а!

Самое смешное в этой грустной истории было то, что я тоже заплакал. Никогда, сколько меня лупили, не плакал, шмыгал носом — и все, а здесь расслезился, молча, без всхлипываний, просто бежали слезы и бежали, вроде бы глаза освободились вдруг от каких-то невидимых затычек.

Мой спаситель, Санька Кленов, так он сказал его зовут, не замечал этого. Весело о чем-то болтал всю дорогу, а я глупым котенком плелся за его бодрым голосом и не мог успокоиться.

Подошли к его дому, он коротко и сердито бросил:

— Кончай, мужик все-таки! — Вытер мне глаза, щеки, нос, а платок сунул в мой карман.

В сенях Саша обмел валенки, я — свои обутки, удивился храбрости, с какой поперся за этим совсем незнакомым парнем.

Не без робости все же я вошел в дом, раньше бы, еще вчера, меня бы канатами не за-

тянуть к чужим. Я даже к Римке никогда не ходил.

— Заходи-и. Не бойся! — Саша помог мне раздеться.

— Мам, — крикнул он, — ты посмотри, какого я экземпляра к нам в гости привел! Настоящий демон в детстве!

Из комнаты вышла тетенька. Сразу видно: учительница или врач. Глянула на меня, на Сашу.

— Саша, когда я отучу тебя кричать, — сказала строго, а лицо — не строгое, красивое и ласковое, голос певучий, — и потом, что это за «экземпляр»? Слово-то какое?

— Мамоchка. — Он приподнялся на цыпочках, чмокнул ее в щеку.

— Да ну тебя! С тобой нельзя разговаривать серьезно. Совсем разболтался без отца, сорванец!

Она подошла, положила руку на плечо, мне понравилось: не на голову — на плечо, заглянула в глаза:

— Тебя как зовут, мальчик? Чей ты?

— Недонос... Алеша!

— Мам, какая разница, чей он? Ведь все равно никого здесь не знаешь.

Саша разговаривал с матерью, а я думал: «Хорошо с мамой! И маме хорошо с Сашей! По всему видно. А я не могу даже представить, как бы это было со мной».

Сашина мама, Лидия Яковлевна, разливает ароматный, отсюда чую, борщ или щи — разницы не знаю. Режет тоненькие ломтики хле-

ба. Движения мягкие, плавные, какие-то знакомые, как у музыкантши-пианистки и как... у бабушки. Точно, бабушка так же уверенно и сноровисто руками двигает, когда что-нибудь делает. Красиво колбу рвет. Ягоду красиво берет.

— Ешьте, мальчики.

— А ты, мам?

— Я сыта. Давайте нажимайте! — оглянувшись с улыбкой. — Вы свой обед заработали.

Борщ! Аппетитными льдинками плавали светло-желтые кусочки старого сала в тарелке. Недолго они плавали. Посмотрел, а Саша еще только ополовинил свою порцию... Зато чай швыркал, растягивал, чтобы Саша не подумал, что я обжора какой. Он засмеялся.

— Кончай водопой!

— Чай тоже вкусный!

— Вкусный?

— Вкусный, но борщ вкуснее.

— Мамочка, слышишь, чай вкусный, а борщ вкуснее. Спаси-бо!

— За двоих!

— На здоровье! На здоровье! — Из комнаты ласковый голос мамы. Сашиней мамы. Как будто мы сделали бог весть какое доброе дело.

— Ты туда, — Саша сделал пальцем «к-х» не прямо, куда ушла Лидия Яковлевна, а направо, — а я быстренько посудку сполосну.

— Не-е, я здесь. Подожду!

Саша быстро вымыл посуду и потянул меня в комнату. Две койки стояли у стены в ряд, а спинки у них, как сомкнутые руки над головой. Мамина койка и Саши.

— Вот та-та да! Как в магазине! — вымолвил я, пораженный, оглядев комнату. — Все твой?

Книги лежали на тумбочках, на двух полках, на подоконнике, ими была заставлена вся этажерка. Столько книг сразу в одной комнате я никогда не видел. Глаза разбежались и остановились на черной штуковине, похожей на детский дирижабль, только концом вниз.

— А это че? — показал пальцем. — Дирижабль?

Саша внимательно посмотрел на меня, на странную штуковину.

— Боксерская груша! Для тренировок. А вот перчатки!

— Зачем они, перчатки-то?

— Драться!

— Ну-у да-а?

— Точно! На ринге.

— На рынке?

— Ты что, смеешься, Леша?

Не смеялся я, драки на рынке видел. Видел даже, как два пьяных мужика бутылками дрались. Сильно дрались, бутылки вдребезги. Потом кулаками продолжали. Но чтобы в таких перчатках? Нет.

— Не знаю... На рынке я никогда не видел.

— Не на рынке, а на рин-ге. Ринг. Место, где ведут бой боксеры.

— А-а! Это вроде гладиаторов? Да?

— Не чуди! О боксерах не слышал? — Саша покачал головой. — Гладиаторов знает, а боксеров нет!

— О гладиаторах я читал в «Древней истории», у сестренок.

— Давай, заливай! Вспомни еще историю средних веков. Рыцарей! — Он перестал сердиться. Засмеялся: — Ну, чудик! Теперь я догадываюсь, за что тебя не любят. Умничаешь, смеешься, наверное, над всеми?

Смеялся ли я вообще когда-нибудь?

— Ты перчатки сам надуваешь? Губами? Саша очень долго разглядывал меня. Изучал.

— На, пощупай! Внутри конский волос... Надень, надень вот.

Перчатки, правда, оказались не надутыми и не такими уж легкими, как на вид. Что-нибудь делать в них нельзя. Ничего не получится, рука же сама в кулак сжимается.

— А теперь бей по груше!

Я стукнул несколько раз по этой самой груше и чуть не вывихнул руку в кисти. Больно стало.

— Э-э, не так! Теперь я тебе верю, — сказал он, снимая перчатки, — смотри. — Саша приложил руку к груди, развернул корпус, отставил одну ногу, как бы уперся во что-то, правой рукой бац в грушу. — Это хук правой.

Да, это был хук! Груша от удара хукнула, недовольно закачалась...

Перед уходом я попросил почитать что-нибудь и показал на толстую книгу, еще раньше рассмотрев на ее корочке человека в маске, в черной накидке.

— «Граф Монте-Кристо!» — Он засмеялся весело, громко и сквозь смех велел почитать.

Я смело открыл первую страницу...

— Ты в ка-а-ком классе учишься?

— В первом «Б».

Он схватил меня за руку и потянул.

— Пойдем-ка к маме! Да ты не бойся. Она у меня хорошая. Художник. Картины пишет. Мамочка! — кричал возбужденный Саша, — я ведь говорил тебе, что это экземпляр!

— Са-ша!

— Ну, мам, ты только послушай, как он читает. В первом классе учится, а читает лучше меня.

Я читал, смущаясь, сбивался, пыхтел, закусывал нижнюю губу, поднимал растерянно глаза, но, встречая добрый, внимательный взгляд Лидии Яковлевны, успокаивался. Так смотрела на меня бабка, только у нее глаза

светлые-светлые, потерявшие синеву и блеск. А у Лидии Яковлевны глаза черные, большие и блестят. Пока читал, все время чувствовал ее взгляд.

— Мам, послушай! Это же настоящий Христосик. Его бьют, а он подставляет лицо. Не плачет, не защищается. А когда я заставил его ударить своего врага, он ударил, а сам... Понимаешь, слезы ручьем. Он не плакал, просто... выпустил их...

— Саша! Ты учишь драться ребенка?

— Мам, а что папа говорил? — Голос у Саши стал строгим. — Первым не лезь, но если затронут — спуска не давай. Его ведь колотят не первый день. Как ты не понимаешь? — Он огорченно вздохнул. — Так можно выбить все человеческое.

— Ладно, ладно, не буду, — вздохнула она и обратилась ко мне: — Нравится тебе у нас, Алеша?

Я помолчал, собираясь с мыслями. Искал слова и не находил.

— Очень! Дом у вас не чужой! — ляпнул я вдруг.

БРАТ

Эдик Пташкин привел родителя. Постучались в класс во время урока. Отец, копия сына, только увеличенных размеров, извиняюще улыбнувшись, попросил прощения за опоздание сына. Учительница сказала: «Ничего, ничего!». Внимательно, до конца выслушала Пташкина-старшего, который пылал негодованием, но все-таки вежливо, улыбочиво рассказывал, как вчера избили его сына.

Отец Эдика говорил толково, почти как завуч школы. Он рассказывал, чем могут кончиться такие нехорошие дела.

Учительница немного растерялась. Она еще ничего не знала.

— Дети! Кто вчера подрался с Эдиком?

— Не подрался, — поправил вежливый папаша, — а избил.

Завертели головами, закрутились на партах. Пташкина? Отлупили? Молчание затягивалось.

Делать было нечего. Я неудобно приподнял

ся. В классе загалдели. Я выпрямился.

— Ты? — удивилась учительница. — Не может быть!

— Как не может быть? — спокойствие покинуло Пташкина-папу, — вы поглядите на его мор... ро... лицо... Это же бандитская физиономия. Де-ге-нера-тип... Он еще рожу корчит! Таких гнать надо в шею! — И он показал, как гнать: резко опустил руку вниз, потом ткнул ею вперед. Далеко бы я отлетел, понадись под эту руку.

На перемене не было кучи-малы. Пташкин бодро (насколько позволял ему распухший нос, впрочем, оживлявший его свиное лицо) рассказал, что у Недонооса появился брат, целый дядя, и если бы не он...

Но болтовня Эдика не ободрила, а несколько озадачила его сторонников. Они смекнули: на одного Недонооса нападать весело и безопасно, а если он с братом, то дело может кончиться не только распухшим носом. Стои-

ло пораскинуть мозгами. Не зря, видно, шумел отец Пташкина.

Эдик, желая приободрить своих дружков, мешковато выбрался из-за парты в проход, шагнул в мою сторону.

— Да я этого Ушастика...

Я не дослушал. Вскочил, хлопнув крышкой парты, вспомнил боксерскую стойку, которую показывал Саша, покрутил плечами и прохрипел:

— Еще хочешь? Хочешь?

Пташкин оглянулся на ребят: они за ним не идут почему-то...

— Ладно-ладно! Погоди вот! — грозил Эдик, возвращаясь к своей парте.

— Че, папочку приведешь, ябеда? — Я ухмылялся, а у самого дрожали коленки...

В конце уроков меня вызвал Саша Кленов. Я гордо проследовал мимо расступившихся обидчиков.

Завидуйте! Вот у меня какой брат! Боксер!

— Почему вчера к нам не приходил? — спросил он.

— Учительница оставляла после уроков разбираться с Пташкиным... Которого тогда избил.

— Так уж избил. Разок ткнул.

— Он отца приводил.

— О, ябеда! Ну и как?

— А-а никак. Я молчал. Учительница велела нам помириться. Не стал я. Пташкина отпустила, меня оставила и сказала, что драться вообще-то плохо, а постоять за себя надо, что я в этом случае молодец, но... велела привести в школу тетку...

Прозвенел звонок. Саша хлопнул по плечу:

— Не унывай! Что-нибудь придумаем!

Я не успел ему возразить, что нечего придумывать и тетку в школу не надо...

— Тетку не приведу! — понурившись, упрямо повторил я. — Сбегу. На фронт.

— Хорошо, Алеша, тетку не надо, — подумав, сказала учительница, — только скажи мне честно, почему ты плохо учишься?

— Троечник же.

Учительница закашлялась, промакнув белым платочком уголки сухих тонких губ, сказала нестрого: — Думаешь, я не вижу, как ты

корежишь язык, притворяясь, что не умеешь читать?... Иди домой.

Домой я не хотел и к Саше тоже. В створонке, чтобы не заметили, крадучись шел за своей учительницей.

Я провожал ее домой и не мог вспомнить, как же зовут. Она спешила, уткнув лицо в лисий теплый воротник, он, видать, не мог ее согреть.

Обо всем этом я не хотел говорить Саше. Не хотел признаваться, что плохо учусь. Он-то отличник, с троечником водиться не станет...

Я приходил к Кленовым, и мы забирались в Сашину комнату. Он закрывал накрепко дверь, и начиналось бойцовское учение.

Я думал, он оденет мне перчатки и заставит колотить грушу. Не тут-то было!

Саша несколько дней мучился со мной, показывал стойку, движение ногами: взад-вперед, отойти-подойти, отскочить-подскочить; движения корпусом, головой, плечами.

Стоять не умел, ходить не умел, корпусом двигал хуже припадочного, приводя Сашу в отчаяние.

— Хватит! Не умею! — не выдержал я наконец.

— Пожалуйста! — согласился Саша. — Думаешь, мне большое удовольствие возиться с тобой? Ты же настоящая кочерга.

— Ага, — кивнул обиженно.

— Я тебе покажу «ага». Ну, становись! — рассердился он не на шутку. — Хочешь, чтобы тебя колотили всю жизнь? Из комнаты не выпущу, пока ты мне не отработаешь вот это движение, — он заработал руками, — давай! Так! Раз! Раз! Еще. Раз! Раз! Веселее! Смелее, не бойся, рука не отвалится! Вот так, а я буду заниматься уроками!

Через некоторое время он велел сменить руку, а потом заставил поработать обеими.

После Сашиной «работы» у меня болели руки, ноги, ныли шея, спина, было такое состояние, будто в завязанном мешке с крутой горы спустили. Однажды, собирая уголь на терриконике, я забрался высоко. Замешкался, не успел отскочить в безопасную зону и вместе с кусками породы, которые высыпала неожиданно вагонетка, покатился вниз. Побил, поцарапался сильно, синяков понаставил. Хо-

рошо, что живым еще выбрался. Сейчас, как и тогда, все гудело, ныло, кололо: только синяков да царапин на теле не было.

Как-то бабушка, подозрительно поглядывая, сказала:

— Не погодить ли со школой? Долго там вас томить стали. Не заболел бы.

— Никто нас не томит. Я к товарищу хожу после школы. Говорил же тебе.

— Они что, верующие какие?

— С чего ты взяла?

— Давеча в сенях бормотал — ну чисто молитву творил и руками непотребные движения делал.

— Подглядела, — засмеялся я. — Нет, они хорошие — художник у него мама, а папа — танкист, на войне.

— Ну и ладно. А я уж подумала плохое: не в баптисты ли подался сын, так ненормально руками махал, словно дьявола отгонял.

Думая что-то свое и все еще сомневаясь, бабушка добавила на всякий случай:

— Ты от верующих подальше держись! Их сейчас, ох, скоко развелось. Доброго они не дают. Душу затуманят...

Я совсем обнаглед, большую часть времени проводил у Кленовых. Перестал стесняться и избегать Лидию Яковлевну. Саша пожаловался, что я торчу на морозе, дожидаясь его, а в дом заходить боюсь, и она строго-настрого наказала не болтаться у дома.

До возвращения Саши я успевал сделать уроки. Потом тихонько копался в книгах, пока, заинтересовавшись, не втыкался в какую-нибудь основательно, забыв все на свете.

Саша появлялся шумно, разговаривал с мамой, шутил, рассказывал что-то. Я незаметно, радуясь и завидуя, наблюдал за ними...

Самое мучительное для меня в этом доме было «усаживание за стол». Втемяшилось,

что обедаю их. Да так оно и было, потому что Лидия Яковлевна редко садилась с нами. Нас кормит, а сама...

Недавно она сняла мерку, для чего делают это, я знал, и нахмурился, неохотно подставляя плечи, руки, спину, живот.

— Не бычься, — сказала Лидия Яковлевна, улыбаясь, — это пока секрет, но что-то, кажется, я придумую.

— Секрет, — пробурчал я, — бабушка говорит, со мной одно разорение.

— Ох, Алешенька, сыночек ты мой, — притянула она вдруг меня, прижала крепко, поцеловала в лоб, — вот потому-то вы нам так дороги, что вы наше «разорение».

Больше я ничего не говорил, боялся, не выдержу, брошусь к ней на шею и разревусь. И так-то уже глаза щиплет, ресницы слипаются, как перед сном.

Наступил день, когда Саша совсем разочаровался в моих боксерских способностях.

— Нет, брат, боксера из тебя не получится, — вздохнул он, — что ты клюешь грушу, как птенчик? Что ты ее гладишь? Ты лупи так, чтобы она тряслась от возмущения. Удар должен быть энергичным, резким, сокрушительным.

— Вот я перед тобой. Ударь, сколько есть силы! Разозлился и ударь!

Скажет тоже, разозлился. Как на него разозлиться? Но требование его выполнил. Бокснул в живот, в самое «солнышко». Все сделал, как он учил.

Саша охнул, удивленно посмотрел на меня и с придыханием сказал:

— Молодец! Кое-что по-онял.

Гордый его похвалой, я шмыгнул носом.

Саша поднял мою руку с перчаткой вверх, потряхнул ею:

— Так держать, брат!

НА УЛИЦЕ

Давно не встречался с Римкой. Дома наши, как два ласточкиных гнезда, под одним карнизом, рядышком слеплены, день и ночь друг на друга смотрят, надоели, поди, а мы с Римкой, будто в прятки играем — видимся сов-

сем редко, издалека. Она учится в другой школе, со второй смены. Негде нам встретиться. К нам, где полный дом своих гавриков, она перестала приходить. Тетки не очень жалуют гостей. Да и до гостей ли в такое время.

Нос к носу столкнулись с Римкой на улице и оба очень обрадовались, словно сто лет прошло.

Мартовское солнце, как елочная игрушка, не ярко, но призывно посвечивало в небе, тянуло на свет, на воздух, еще морозный, но уже пахнущий весенней влажностью. И не напрасно: я ведь знал, что встречу Римку.

— Римка-а!.. Ты все еще сахар ложками жрешь? — спросил неожиданно ее, вместо приветствия.

— Откуда сахар-то?

— А че золотуха не проходит? Она же от сахара.

— Байки! — весело сказала Римка. — Врач говорит, обмен нарушен.

— С кем обмен?

— Так, ни с кем. Сам с собой. Внутри.

— А-а. — «Всегда что-нибудь сочиняет».

— У тебя тоже обмен нарушен. Вон тонкий-то, как пустой стручок.

— Не-е! Меня глист сосет. Бабка летом выводила, да не всех, поди.

Мы помолчали маленько, и я хвастливо заявил:

— А у меня друг есть. Саша Кленов. Такой мировой парень!

— То-то ты от меня прячешься. Забыл, как играли вместе? — сказала она, понурившись. — Как было хорошо!

— Не-е-т! — Мне стало жалко Римку. Стыдно. Хвостун. Я тронул ее за рукав старенького вытертого пальтишка. — Я тоже все помню, а он... почти взрослый, и мама у него... художник.

Римка от удивления рот открыла, словно хотела показать ровные, крепкие зубы.

— Правда?.. Настоящий-настоящий художник, который в книгах рисует?

— Книжки? Не знаю. Она полотна пишет.

— Полотно не пишут, а ткнут, — поправила меня Римка.

Меня сперва обидела ее непонятливость, но, вспомнив, как она всегда терпеливо объясняла что-нибудь, подробно отвечала на вопросы, я как мог растолковал, чем занимается Сашина мама.

— Да ты сама увидишь, — сказал я обещающе, — мы когда-нибудь вместе сходим к

ним. У него такая... такая приветливая мама, добрая, как ты.

Римка засмущалась и, кажется, окончательно поверила. Я посмотрел на соломенно-рыжие прядки, выбившиеся из-под платка — совсем осветлели. И забыл, чем я еще хотел удивить ее. Она опередила меня.

— В отличниках ходишь?

— Скажешь мне. Только из троек вылез.

— Ничего, — успокоила она, — еще будешь отличником.

В это время между нами пролетел снежок. Чуть-чуть в сторону — и кому-нибудь попал бы в голову. Недалеко позади стоял наш давний недруг.

— Жених с невестой поехали за тестом, тесто упало, невеста пропала, — закричал он тошнотным голоском.

Посмотрев на мою растерянную физиономию, Римка шепнула:

— Не бойся, беги, я в него вцеплюсь.

Я побежал, забирая в сторону, а он — наперерез. Все верно. Бьют трусливых и убегающих. Мне сейчас это и надо. Вспомнились наставления, какая-то легкость и радостная злость распирали меня, и я вложил ее в свой первый смелый и победный удар. «Так держать», — звенел в голове голос Саши.

— А теперь пошли спокойно, — сказал я подбегавшей Римке, — не оглядывайся, не бойся.

Обратно мы дошли без происшествий.

У дома она сказала, краснея:

— Алеша, я всегда тебя раньше жалела. Думала, что ты пропадешь. А теперь думаю: ты не пропадешь!

— Бабка надвое сказала, — ответил я, вспомнив сказанную кем-то и понравившуюся мне поговорку, до конца не понимая ее смысла.

— Вот увидишь! — пообещала Римка, как будто все зависело от нее или как будто бы она была цыганкой-гадалкой и все знала наперед.

Я перестал бояться улицы. Даже в темень. Мне стало нравиться бродить не спеша, не торопясь и следить за прохожими, гадать, кто они и куда путь держат, заходить в полупустые магазины.

- Что надо, мальчик?
- Ничего-о.
- Тогда иди, иди домой!

Врал я. Очень нужен мне был большой шерстяной платок, черный, бордовыми линиями разрисованный в клетку. Купил бы и бабке принес. Она бы обрадовалась, удивилась притворно:

- Неужто мне?
- А кому еще?
- Да зачем такой дорогой-то? — спросила бы она, узнав цену.
- Можно было бы дороже, да нет дороже-то, — посетовал бы я.

Тогда бабка бы заворчала:

— Куда мне, старой, платки такие, расплаточки? Деньги транжиришь только. — А у самой глаза увлажнились бы, не потому, что очень нужен ей этот платок, а потому, что она нужна еще кому-то...

Последнее время все реже сползает с нашей печи. Не просит растопить баньку, косточки попарить. Понимает — с дровами туго. Или жгучий пар уж кости не греет? Копошится на печи, коврики из ненужного тряпья вяжет. Все пригодится. А кому? Тетки коврики в чулан прячут. Эх, бабка, дожждаться бы нам лета. Ожила бы ты в лесу, задвигалась бы, засуетилась...

Порой незаметно добирался до железнодорожной станции, откуда мы с бабкой в давние счастливые времена отправлялись в тайгу.

Станция была теперь не такой, как в те времена: ожидающе-спокойная, всплескивающая будоражающим гамом и шумом полусонных, вечно суетящихся пассажиров, она сейчас выглядела неживой, хотя то и дело гроыхали под зеленым светофором составы, торопясь на запад, на войну.

На платформах, укрытых заледенелым брезентом, угадывались автомашины, танки, пушки, какие-то ящики. Стоящие рядом, в длинных заиндевевших тулупах часовые представлялись оловянными солдатами.

Между составами, на запасных путях, бегала, как собака, потерявшая хозяина, маневровая «овечка» — старенький паровозик «ОВ». Она появлялась то в одном конце станции, то, спрятавшись за вагонами, вдруг выныривала в другом, суетливо волоча за собой три-четыре доверху груженных углярки. Уголь, припорошенный снегом, походил на извесь. «Овечке» было нелегко, она сердилась, пыхтела, а прицепив углярки, радостно свистнув, бежала обратно, забывая об усталости. Из окна черного паровозика выглядывал, как скворец из своего домика, черный машинист.

Станция оживала и становилась прежней лишь в минуты, когда там останавливался воинский эшелон. Красноармейцы высыпали из вагонов: весело крикали, приседали, громко разговаривали, смеялись, звеня котелками, бежали за кипятком, толпились у туалета, боролись, спорили. Я не верил как-то, что едут они на войну, где могут покалечить и убить. Не верил. Этих-то не убьют. Такие не умирают...

Один раз я очутился в конце эшелона у самой теплушки. Не случайно, а специально рассчитал, так велико было желание посмотреть поближе на бодрых, притягивающих к себе, особенных людей. Я засмотрелся, а большой, горячий дядька неожиданно подхватил, поднял в вагон. Я напугался, рванулсЯ было, но он задержал и прогудел:

— Не бойся, сынуля, здесь все папки! — И обращаясь к притихшим солдатам, громко сказал: — Ну-ка, братцы, угостим нашего сынишку кто чем может!

Мне совали в руки, пихали в карманы галеты, сухари, кусочки сахара и в придачу, когда уже опустили из вагона, дали буханку хлеба и банку тушенки. Я обалдел от всего этого. Эшелон ушел, а перед глазами были красноармейцы — все на одно лицо: усатые, добрые, колючие, пахнущие махоркой:

— Разобьем фашистских гадов!

НЕ БУДЕТ ЛЕТА

Дома взял квашеной колбы, туесок соленых грибов и помчался к Кленовым.

На перемене Саша сказал, чтобы сегодня я обязательно пришел, мама звала, потом хитро сощурился, добавил:

— Будет маленькое торжество. Мама работу закончила.

— Алеша, мы тебя ждем, — встретила Лидия Яковлевна и стала помогать мне раздеваться. — А это что?

— Бабка колбы и грибов прислала.

— Нет, на ногах что?

— Мамошка, это детская обувь военного времени, — выручил меня Саша.

Ботинки мои совсем развалились, и бабка приспособила рукава от старенькой фуфайки с чунами. Рукава обрезала на угол, ушила и вот вам чеботы готовы. Главное — тепло.

Шахтерские чуны были великоваты и, чтобы не хлябали в них ноги, я приматывал проволокой. Моя обувь походила немного на деревенские лапти.

Лидия Яковлевна вздохнула, две морщинки легли у рта. Я понурил голову.

— Ну, дети, не будем сегодня хмуриться, — оживилась она. — Алеша, мой руки, а ты, Саша, принеси-ка ему наш... вообще-то не надо, мы все вместе туда пойдем...

Черные шерстяные брючки, серая рубашка и синяя вельветовая курточка сделали меня похожим чем-то на Сашу. Долго и удивленно рассматривал себя в зеркало, узнавая и не узнавая, впервые обратив внимание, как сильно меняет человека одежда.

...А рядом за грубым столом сидит военный. На плечи накинута шинель. Свет керосиновой лампы освещает его задумчивое усталое лицо. Белым мотыльком между рук приютился листок бумаги. Он словно оберегает его от темноты, которая выползает из углов землянки. В руке ручка, рядом чернильница-непроливашка, похожая на солонку. Он поднял голову, смотрит перед собой, от виска к подбородку пролегли глубокие морщины, как шрамы...

Я впился глазами в картину, потерял ощущение времени и реальности, оказавшись в

землянке, рядом с военным. Я был его помощником, ординарцем. Слева на топчане, под полушубком, черный чуб — это я там сплю. Я медленно возвращаюсь из землянки, оттуда — из войны, ощущаю на плече теплоту пальцев Лидии Яковлевны, и кажется она мне моей матерью, Саша — братом, а в командирский блиндаж мы заглянули к своему папке, только он не знает об этом... «Вот бабку бы сюда», — мелькнула мысль.

Весной, как-то поспешно, словно собралась в лес, умерла она. Еще поспешнее ее схоронили. Сборов почти никаких, бабка все заранее приготовила сама, только помыли ее последний раз в нежаркой баньке, переодели, положили в гроб и все.

Нет, я не хотел верить, что бабка умерла, и холмик на кладбище не все, что осталось от нее. Она где-то рядом... На могилке ее навтыкал тополиных веток. Приживутся. Весна ведь.

Так я и не купил ей шерстяной платок в бордовую клетку.

С осени до середины зимы бабка еще шустрила, копошилась в доме. Что-то кроила, перешивала, перекраивала. Готовилась к лету, без умолку говорила о лесе, как о закадычной давней подруге, вспоминая какие-то полузабытые всеми подробности.

С середины зимы заметно притомилась. Реже покидала печь — нашу с ней горницу, спальню и читальню. Но все работала — вязала половички, коврики, не хотела, чтобы пропадала зазря даже ношенная-переношенная тряпка. Это же не тряпка, говорила она, это труд человеческий.

Вечерами иногда просила что-нибудь почитать из книг, которые приносил от Саши. Особенно понравилась ей «Приключения Робинзона Крузо». Прослушав книгу до конца, сделала свое заключение: «С трудом человек и на необитаемой земле не одинок, а без труда и среди людей — пустынный».

Последнее время она была необычно ласкова, радовалась моей дружбе с Кленовыми. Все собиралась отблагодарить «голубушку Лидию

Яковлевну», которую не знала и не видела ни разу.

Подолгу смотрела на меня. Что она думала? Спросить, поговорить бы, а я сердился, просил не гипнотизировать, не смотреть так. И бабка не обижалась, быстро говорила: «Ну, не буду, не буду, только не уходи». Если я оставался, мудро и понимающе, довольная, улыбалась. Она знала, что умирает, и радовалась весне.

Без бабки дом стал неродным, дом, где я знал каждый закуток, каждую щелку, каждый кирпичик на печке, знал, как скрипят половицы и поют двери. Не радовал больше сверчок за печкой, он встречал меня не веселым потрескиванием, как бывало, а нудным, раздражающе-однообразным скрипом. Я засыпал, а он скрипел, скрипел, вроде не за печкой, а в моей голове — в левом виске.

Хорошо, что в Сашиной комнате нет сверчка, а то он скоро выживет меня с печки или просверлит мозги. Странно, и тетки не просят меня с печи. Раньше ворчали, что мы с бабкой «оккупировали» ее, им даже погреться негде с ребятишками. Сейчас молчат.

...Хорошо у Лидии Яковлевны. Запахи полотна, картона, красок, не похожие на запахи леса; но по-своему приятные и чем-то волнующие; просятся в руки тюбики красок — выдавить их, подхватить кистью, орудовать ею ловко, но не лица людские лепить на полотне, а перенести на него успокаивающий уют леса...

Я переодеваюсь в старые, бывшие мои одежды, натягиваю на ноги фуфачные «бурки» с чунями, подматываю проволокой. Неприятное занятие, но так надо Лидии Яковлевне, для этого она и сохранила мою «старую шкуру». Постирала, правда, все, проутюжила.

Сажусь на кусок шпалы, поставленной на «попа», принимаю привычную позу, и начинается «наша» работа. Сегодня Лидия Яковлевна подолгу смотрит на меня, но я, равнодушный и угрюмый, не отвечаю на ее быстрые, как мельканье, улыбки. Неудобно. Устает спина, кручу головой, то и дело убираю с колен руки, ерзаю.

Моя возня надоедает, видимо, ей. Кого

хочешь выведет из терпения такая непосредственность. Отложила кисть. Смотрит долго и внимательно:

— Алеша, что случилось? Ты всегда такой терпеливый, а сегодня минуты спокойно не посидишь. Что с тобой?

— Сегодня не надо, — попросил я, не выдержал, расплакался первый раз по бабке, только сейчас осознав, что ее нет и никогда уже не будет. Бабки, леса, лета, теплоты...

Лидия Яковлевна пришла к моим теткам. Усыновить Алешку? Ни в какую! Слушать не стали, выставили ее из дома.

После уроков все сильнее тянуло на станцию. Я приходил туда, как к старому доброму знакомому и слонялся до тех пор, пока не начинал зябнуть. Вельветовая курточка вечерами не грела. Фуфачку бы под этот весенний станционный ветерок. Самое то.

На вокзал, в невысокое каменное здание, я не заходил, хотя там теплее без ветра, с покатыми спинками скамьи — можно удобно сидеть, запрокинув голову. Железнодорожный милиционер в длинной, до пят, синей шинели и с саблей на боку, заметил меня и обещал уже отправить «куда следует», если я буду торчать там.

Я встречал и провожал составы, как подпольный начальник станции, испытывал приятное и жуткое блаженство лишь от одной мысли, что вот можно забраться незаметно в вагон, запрятаться куда-нибудь, а через несколько часов очутиться в другом, совсем незнакомом городе, а потом и еще в другом...

Плелся обратно, кружил у дома Кленовых, стараясь издали разглядеть за занавесками Сашу или Лидию Яковлевну, и брел в свой нерадостный дом.

Иногда, если было не поздно и не очень пасмурно, я направлялся со станции прямую, через кладбище. По вытоптанной дорожке летел, пугаясь собственного дыхания, не решаясь смотреть по сторонам. Позади гудели поезда, ревели буксующие машины, где-то лаяли собаки, но эти звуки не нарушали здешнюю тишину, наполненную, казалось, лишь тихими печальными голосами усопших. Я боялся кладбища, на котором лежали мать, дед и бабка, но продолжал все-таки ходить,

будто хотел сказать им: помню, не забыл. А помнил я только одну бабу. Мать и деда никогда не видел, и представлялись они мне как две пожелтевшие фотокарточки, висевшие в комнате под стеклом.

Мои поздние возвращения надоели всем, и как-то одна из теток не выдержала:

— Нормальные дети давно из школы вернулись. А ты где мотаешься? Поди у своей... мамочки был, у этой... художницы. — Последнее слово она произнесла противно, как ругательство.

Другая тетка остановила ее:

— Ну зачем ты так? — и позвала: — Алеша, иди сюда, миленький.

Нашла миленького. Набывшись, шмыгая носом, я стоял у печи. Единственное, что грело меня еще в этом доме. Она тогда подошла сама.

— Ты совсем глупенький. Думаешь, зачем тебя хотела усыновить эта дамочка? Узнала, что бабка отписала дом на тебя, вот и решила этим воспользоваться. Дом ей нужен, а не ты!

— Неправда! Она такая... такая... она, как бабка, добрая! — Дернул плечами, отгоняя тетку, как назойливую муху, но она не успокоилась.

— Добрая? На чужое добро — добрая. А как поняла, что у нее ничего не получится, уезжает отсюда собралась.

— Неправда! Она лучше вас! Одеда, бабула... она меня жалела! А вы... вы... злые!

Я убежал, чтобы никто не видел моих слез. Не видели никогда и не увидят. Совсем стемнело, когда ноги привели меня к дому Кленовых. В окнах горел свет, призывно, маняще, и не было сил больше не зайти. Узнать бы, взаправду они уезжают или тетки наврали...

Я постучал.

— Ой, Алеша, дорогой! — воскликнула радостно Лидия Яковлевна, — пропащий ты наш, почему две недели не появлялся? Саша тебя искал...

— Это правда?

— Правда, — в один голос ответили Кленовы.

— Правда, что вы уезжаете? — тихо повторил я и понял, что спрашивать не надо было.

Голые стены, необычный в доме беспорядок, сдвинутые вещи — все твердило: уезжают, уезжают...

Лидия Яковлевна растерянно умолкла, а Саша скорее потащил смотреть, что он мне оставляет на память.

— Груша, боксерские перчатки, книги, — бодро перечислял он, — ты что это? Старое вспомнил. Ну-ка, перестань! Мам, иди, Алеша плачет...

— Не плачу я!

Но вошла Лидия Яковлевна, и я заголосил:

— Не уезжайте, — мычал я сквозь слезы, прекрасно понимая, что говорю чепуху.

ЗАДАЧА

Детский дом находился в лесу, и я тут словно бы снова с бабушкой после долгой разлуки. Она была рядом, среди деревьев и кустов, шагала моими ногами по мягкой, начавшей сесть желтизной осени атласной траве. Моими руками осторожно выбирала из нее красные угольки костеники, беззубо смаковала сладко-кислые ягоды, копившие свой вкус душистыми летними ночами, собиравшие аромат послегрозного леса в алую капельку, тающую во рту.

Цепляются за ноги худенькие, но крепкие плети мышинного горошка, детскими погреб-

мушками шумят перезревшие стручки, и некоторые лопаются, фонтанчиками выстреливая серенькие горошинки, крепкие, как дробь. Жернова нужны, а не зубы, чтобы ощутить мучнистый вкус мышинного лакомства! Не успеваешь обирать колючие шарики вездесущего репейника, сдувать с лица липкую паутину, а глаза замечают высокий терриконт муравейника, слегка привалившегося к толстой сосне. Нет на нем веселой весенней толчеи и неразберихи; летнего, возбужденно-радостного движения; закончена подготовка к зиме, побавилось муравьев, и ползают они медленно.

Если души людей не умирают, а переселяются в другие существа, как говорила моя бабка, то сама она стала рабочим муравьем и сейчас копошится, должно быть, среди этих, самых трудолюбивых. Бабка не умела сидеть без дела. За несколько дней до смерти она связала последний коврик из довоенного тряпья. За зиму своей болезни она их навязала много, но тот, последний, был самым дорогим.

Подарила его бабка мне за день до смерти.

— Не знаю, авось и сгодится, сынок,— сказала она виновато, словно оправдываясь, что не может мне оставить ничего иного...

— Ну, ты чево там стал?— спрашивает Юрка.— Иди, я тебе еще два кармана боярки набрал.

Он пробирается ко мне, и, увидев муравьиную кучу, весело присвистывает.

— Сейчас я тебе покажу фокус!

Он срывает сухую травинку, слюнявит ее и кладет на муравейник. Вообще Юрка считает меня чисто городским человеком и мое оживание в лесу или задумчивость принимает с мудростью деревенского жителя. Что они там видят, в городе? Ель от сосны отличить не могут. Юрка не упускает ни одной возможности удивить или ошарашить меня. Незаметно хвастает лесом, как своим собственным садом. Смотри, удивляйся, а для нас здесь все привычно. Боярки? Пожалуйста! Два, пять, десять карманов, сколь угодно! И сам поражается моей способности неумоимо поглощать (вместе с косточками) эту ягоду. Ему одной пригоршни хватает.

Муравьи оживились, тревожно забегали, зашевелили соломинку, обнаружив беспорядок.

Юрка берет травинку, стряхивает прилипших муравьев, протягивает мне ее с равнодушным видом фокусника, привыкшего поражать простодушных зевак.

— На, оближи!

Усердно облизываю. Пожимаю плечами.

— Че? Не кислая?

— Нисколько,— отдаю пораженному Юрке его соломинку.

— Не может быть!— восклицает он и оближивает ее.

— Да ты че? Кис-ла-а-я!

— Для тебя и кислая,— еле удерживаю смех.— Один раз я целую бутылку уксусной эссенции выпил. И не заметил, думал, вода чуть-чуть кисловатая.

В Юркиных глазах незабудки становятся колокольчиками.

— Ты сс-с-серьез-но?— шмыгает носом.

— А ты думал...

Неохотно шагает из леса.

Забраться бы в густую траву, слушать, как прощально-редко потрескивают кузнечики, как пугливо падают с сосен растопыренные перезревшие шишки, пугая своим стуком любопытных синичек, смотреть в неподвижно-высокое небо, пока не закружится голова, не захватит дух от прозрачно-синей бездонности.

А Юрка торопит на самоподготовку, в маленький и душный после леса класс. Надо будет листать безрадостные странички учебников и убеждать себя, что ты — не последний из дураков.

Я еще не решил окончательно: бежать из детского дома или нет. За то, чтобы остаться, был лес, а значит, и моя бабка. Река, Юрка, детдомовские: покладисто-дружные пацаны, аккуратненькие, незаметно-схидные девчонки, ненавязчиво-внимательные воспитатели, насмешливо-серьезная учительница Галина Хабировна, к которой я питал неизъяснимую симпатию. А впереди еще зима: холодные вокзалы, шумные вагоны и безлюдные, темные улицы незнакомых городов. Стужа.

Грамматика и арифметика топорщились страницами, нашептывали заговорщески: «Зачем мы тебе? Умеешь читать, считать, и хватит. Стоит ли забивать голову? Пожалей ее, она у тебя ведь одна. Жила же твоя бабка без нашей премудрости!»

Но здесь же вспомнились советы бабки, звучал ее голос:

— Учись, сынок! Сколь ни трудно будет, учись! Только ученый человек зряч.

Как учиться? Два года пробегал, «пропутешествовал». Четыре месяца проучился во втором классе, когда был в детприемнике...

— Опять мечтаешь?— толкает Юрка.

— Опять,— печально вздыхаю,— ничего не лезет...

— Само и не полезет. Заставь себя. Заставь! Начинать всегда трудно, — твердит Юрка убежденно, — в воду сначала и то страшно лезть, а потом привыкаешь, хоть бы хны. Даже вылезать неохота...

Злюсь на Юрку, на себя, на свою бестолковую, самую беспонятливую голову, и не впервой тихонько просиживаю часы самоподготовки, упрямо отказываясь от помощи Юрки.

— Ну, ты спиши задачку-то, спиши.

— Зачем?

— Двойки не будет, а потом, ради интереса хотя бы.

— Какой интерес, когда башка не работает.

— Не башка, а ты! — злится Юрка, — в твою башку, знаешь, сколь можно напихать?.. Знаешь, сколь?..

— Сколь?..

— Таких двадцать арифметик! — хлопает он по парте.

На уроке арифметики Галина Хабировна первый раз вызвала меня к доске.

Я бойко, с выражением прочитал задачу, подпигал челюстью и смолк. Класс развеселился.

— В чем дело? — повернулась она ко мне.

— Домашняя задача, я ее не решил, — положил учебник на стол и пошagal на место, сел, опустил голову, стыдно было поднимать глаза.

Сбегу. Сегодня же сбегу. К чертям все ученье. Пусть умненьких учат. С меня хватит!

Поднялся Юрка, он что-то сказал и сел, хлопнув партой.

— Кто еще не решил задачу? — спросила не то строго, не то удивленно учительница.

И что же? Почти весь класс не сделал задание.

— Странно, странно! Ну, хорошо, тогда давайте решать все вместе. Алеша, читай еще раз задачку... С места, с места...

Сбитый с толку всем происходящим, я читал задачу уже без выражения, но с каким-то непонятным удовольствием и интересом, стараясь уловить смысл главного вопроса ее, который всех привел в недоумение. Решил Юрка задачу или нет? Он же предлагал спи-

сать. Пусть Юрка решил. А другие-то точно не решили. Значит, не так уж и ясна всем арифметика, как думалось раньше. Выходит, надо голову ломать... От этих мыслей не стало легче, но с ними пришла маленькая надежда. Надежда на что?

Галина Хабировна меж тем спрашивала то одного, то другого, подбадривая и помогая тем, кто молчал, живенько писала на доске решение.

Я опять ничего не понял.

Вечером, перед самым отбоем, когда в школе никого уже не было, кроме уборщицы, я пробрался в свой класс. Воровски проверил тетради... Задачу решили все! Да, но в этом ли сейчас дело? Главное, я — свой, я — ихний! Меня признали за своего, не раздумывая: глухой или умный, приняли таким, какой есть...

Я прилетел в спальню. Тишина. Разделся, нырнул с головой под суконное одеяльце. Надышать теплоты, согреться, что значит суконка. Недаром солдатские шинели из сукна шьют. А в теплоте и в темноте так хорошо думается, высовываться неохота. Высунулся. Отыскал в светлом полумраке Юркину койку.

— Юр?

— Ну-у? Поспать не даст.

— Зачем ты сказал училке, что не решил задачу? Ведь ты же решил.

— Иди-ка спать. Ничего я не решил.

— Решил!

— Решил, решил. Успокойся, теперь не буду решать. Ты же не решаешь, и я не буду. Тебе кол и мне кол. Вот так!

Он дрыгнул, отвернулся к стенке и захрапел. Притворно и сердито. Все, больше разговаривать не будет, хоть с койки стани.

Законный ты пацан, Юрка! У меня не было еще такого друга. Была бабка, Римка, Саша Кленов, его мама — Лидия Яковлевна. Теперь ты, Юрка. Хорошо.

Привыкший спать чутко, просыпаться от малейшего звука или прикосновения, в эту ночь я спал крепко и спокойно. Юрка с трудом поднял меня на завтрак.

...Когда Юрка первый раз позвал на костер, признаться, я пошел не с ахти какой охотой.



Чего хорошего в теплую погоду сидеть у костра? Не лучше ли побродить в лесу?

А костер — целый ритуал, священнодействие и пир. Это песня неутомимым детдомовским желудкам и осеннему едобилию.

Праздник урожая. Турнир ловкости, соревнование хитрости и ума. Это смелые и дальние набеги краснокожих на плантации бледнолицых поселенцев. Рассказы предводителей храбрых и чумазных воинов в детдомовской одежке.

Плантации — колхозные близкие и дальние поля картофеля, гороха, турнепса, капусты — были объектом особого внимания детдомовцев. И чем неусыпнее были колхозные объездчики, тем желаннее и дороже добыча. Наброситься, как крысы, надергать, нахватать — не заслуга. Завтра же будет известно директору. Тревога, шум и паника на весь детдом: воры!

Взять незаметно: картофель подкопать, турнепс выбрать самый крупный, подальше от края, капусту тоже, а вилок, чтоб звенел от крепости. Если и поймает объездчик (а такое бывало), уши надерут да и только. Тихо и мирно.

Обычно о походах договариваются по утранке, где-нибудь в умывальнике или уборной, подальше от любопытных глаз. Все делается с предосторожностью. Больше половины детдомовцев все равно ничего не узнают.

Днем, сразу же после уроков, тройки, пятерки храбрецов отправляются в поиск, иногда жертвуя обедом в пользу тех, кто в заговоре. Обед, какой бы он ни был, съешь, а пайка — неприкосновенна! Ее сохрани!

Излюбленное место для костров — глухая ложбина, подальше от дорог и многолюдья.

На высоком склоне — светлый сосновый бор с легким сквознячком; на пологом, почти у самого ручья — редкие пихты и ели, непролазные заросли черемухи, смородины, тальника. Все перевито, перетянато хмелем, как лианами в джунглях, только нет здесь обезьян, не считая нас — детдомовцев.

Сумрачно. Воздух устоявшийся — горьковатый, отдающий плесенью и грибами. Высокий склон — горница, пологий — погреб.

В бору сухо, чисто, валежника почти нет и дров достать — надо обегать пространство или же взобраться на сосны, на каждой, повыше, есть сухие ветки.

Потрескивает, постреливает костерок, пыхтит, как маленький паровозик, шурша, осыпаются прогоревшие шишки и сучья, копится

и оседает мягкий жар в воронке огня — горячая перинка для картошечки — бесценного дара земли-матушки. Самые нетерпеливые подталкивают картошку в огонь и обгоревшую снаружи, подчистив чуть-чуть черноту, хрумят, как турнепс, не обращая внимания на то, что она недопечена. Они с таким же удовольствием будут есть душистую, рассыпчатую картошку, поспевшую на углях. Вожди на таких нетерпеливых посматривают снисходительно и совсем не свысока.

Солнечные лучи путаются в ветках сосен, скользят по ним, серебрят паутины, натянутые, как бельевые веревки, обжористыми, как мы, пауками. Только пауки толстые и круглые, а среди нас, даже среди самых нетерпеливых, таких экземпляров нет.

Лучи вкривь и вкось режут землю на беспорядочные, большие и маленькие, многоугольники; золотят янтарно-матовые капельки потрескавшейся и остывшей смолы, не в силах уже растопить ее, и не спят уже до резки глаза.

Шустрые поползни — бегают по стволу вверх и вниз легко, как по стадиону, успевая заглядывать во все щелочки, трещинки, дырочки, извлекают дремлющих короедов и прочую зазевавшуюся мелочь.

Ох, братцы! Какая же это вкуснятина: пропеченная, поспевшая в темно-горячих углях, прикрытых пухом теплой золы, картошка-раскартошечка в золотисто-коричневой коже-лукошке! Выбираешь из нее обжигающе-душистую мякоть, и до того вкусно слу-

шать брехню удачливых добытчиков: уши топорщатся, как молодые лопушки весной, а губы лопаются от ожогов. Тут-то самое время перейти к прохладно-сочному турнепсу. Сравниться с ним может разве только арбуз, частично, поскольку от арбуза одна вода, сытости-то никакой. Турнепс же таит и сытость, и кое-что другое, не зря коровки-то едят его за милую душу.

После турнепса можно спуститься к родничку. Вода прозрачная, словно воздух, сама пьется, уже дух перевести надо, а оторваться не в силах...

Поднимаешься к костру, будто с рюкзаком камней, только он впереди надет, одну-две остановки сделаешь для облегчения — и опять в родной компании. Здесь морковку кто-нибудь сунет, витаминная штука с каротином, а это, между прочим, в долгую зиму незаменимо, даже сливочным маслом. Я еще слышал, что выпить ведро воды — все равно, что съесть сто граммов масла. Простой воды. А родниковой?

Так вот, заменяя одно другим, легко обходимся без молока, масла, сахара и даже соли. Жаль, нет запасного желудка! Набил бы его, спрятал в черемухнике у родника, когда надо, прибежал бы.

В этот раз мы с Юркой пришли к угасающему костру, к остывающим разговорам. И было уже совсем не то, словно аппетит свой оставили мы пешеходам, которые, как стало известно, шли с одинаковой скоростью, пять километров в час.

ПОВОДЫРЬ

После уроков провожаю Галину Хабировну домой. Была контролька по арифметике. Хочется побыстрей узнать, что же я там наконтролил. Чую, что задачи решил правильно и можно бы быть спокойным, но нетерпение берет верх и я, после небольшой заминки, соглашаюсь помочь донести тетради.

Галина Хабировна давно приглашала в гости (к ней домой запросто бегают девочки и мальчишки), я же все не решался. Как это, к учительнице в гости? Что она, родня, что

ли? Сейчас иду, причина есть, обещала, как придем, проверить работу. Так бы — ни за что!

Идем по тропинке. Глухо и тревожно шумят кронами сосны, скрипят стволы, как несмазанные петли сенных дверей; падают парами хвоянки, одни — плавно, по большой спирали, другие — резко кружась — прямо под ноги; медленно спускаются последние, ладно высушенные, прозрачно-желтые березовые листья. Вдруг красногрудым снегирем

мелькнул среди них принесенный откуда-то лист осиновый, упал на землю, засветился призывно в пожухлой листве — красноголовиком — напомнил сразу все: лето, бабу, Римку, братьев, теток, которых я старался не помнить, и свою первую, печальную учительницу Екатерину Петровну, у которой в начале войны пропал муж на фронте. Вспомнил отъезд Кленовых, свой побег из дому, беспризорничество, грязные и вонючие вагоны, переполненные людьми: злыми и добрыми, крикливыми и молчаливыми, печальными и редко веселыми, да и веселые-то издерганные, водкой подбодренные, словно веселились силком.

Домик у нашей учительницы маленький, как будка стрелочника, внутри тоже все маленькое: крошечный коридорчик-кухня, малюсенькая комнатка, два еле различимых (за белыми шторками) оконца, печурка. Я осмотрелся. Железная койка, как у нас, матрасик с тоненьким одеяльцем, сверху синее покрывальце, на нем углом — подушка, побольше наших. Рядом тумбочка, покрытая салфеткой с анютиными глазками, на ней флакончик пузатенький, сплюснутый, как солдатская фляжка, с боков. В углу небольшой квадратный стол, как раз такой, какой нужен в этой уютной комнатке, на нем две стопки тетрадей.

Галина Хабировна возится в своей кухне-прихожей. Собирает что-то. Гость все же. А обещала проверить сразу же тетрадь. Посижу. Посижу и пойду. У-у, на этажерке книг-то, как у Саши Кленова. «Педагогическая поэма». А. Макарян, дальше не видно. «Что делать?». Чернышевский. Коричневые, темные, синие корочки. Покопаться бы, полистать книги. Спросить, что ли? Но скрипит стул, как предупреждает: ты в гостях, сиди и не рыпайся. А сидеть неохота. Напросился?

А Галина Хабировна, пока я сидел, раздумывал и оглядывал, затопила печь, которая теперь весело и радостно потрескивала. Подала нож, миску.

— Давай чистить картофель?

Я облегченно вздохнул и даже сказал:

— Я один!

— Тогда я тетрадь твою проверю.

Я увлекся, уходила неловкость, я стал даже тихонько напевать, забыв о Галине Хабировне. С пением вдруг нахлынули воспоминания.

...Пение мое мне нравилось. Недаром следящий дядя Костя, с которым мы пели по вагонам, просил меня не подпевать ему. Он говорил, что у меня такой сильный голос, что я заглушаю не только его, но и гармонику. Зато, когда мы бывали вдвоем, я, по его просьбе, отводил душу. И вправду, я орал так, что сам не слышал гармошки, когда дядя Костя подыгрывал мне. Потом он уже не делал этого. Сказал, что мне петь только под духовой оркестр. Конечно, дядя Костя шутил, я же знал, что под духовой оркестр только хоронят или маршируют, но с ним не спорил. Под духовой так под духовой. Еще мне жуть как хотелось научиться играть на гармошке, перебирать черно-белые пуговицы, извлекая из нее самые разные песни. Но дядя Костя сказал, что каждому свое: тебе петь, мне играть. Хотя сам и играл, и пел, пел так, что в вагоне тетки, когда слушали, плакать начинали. Если я ему возражал, он говорил:

— Леша-а, мой песни печаль приносят... И пою-то я их сам не от радости. Мои песни — мое горе. Твои же для радости: будь они хуже сто раз колесного скрипа, все одно — радость.

Я, кажется, понимал его, потому что орал те же самые песни, и была от них мне радость, а пел дядя Костя — становилось грустно, до слез жаль его и себя, и всех, кто слушал. Но почему хуже колесного скрипа?

Дядя Костя отыскивал мою голову, лохматил (мне нравилось, когда он трепал мои волосы, шершавая ладошка его, даже холодная, двигалась по моей макушке ласково и тепло).

— Дурашка, ты знаешь, что для крестьянина нет лучше музыки, чем скрип тележный, когда он везет зерно с тока. Перепелки поют, воронье орет, сороки трещат, вылавливая у молотилок укаченных полевок. А крестьянин слушает только скрип колес: чем сильнее этот скрип, тем тяжелей воз. Вот такая музыка, Алеша...

Подают нам в вагонах хорошо. Сыты. Дядя Костя крепкий, здоровый, при руках, при но-

гах. Радоваться надо, что из такого ада вышел живым. Сам же говорил, что ни врагу, ни детям его не пожелает такого пережить. Ну вот и хорошо, что жив, а печаль в песне пушай — это даже нам выгодно. Мешочники да торговки разжалобятся, больше подадут. Ему-то хорошо, он слепой, не видит, сколь кругом инвалидов: без рук, без ног.

После работы, которую дядя Костя смешно называл гастролями, мы шастали по базару какого-нибудь городишка, добывали провиант. Где шутками, где песнями дядя Костя сбавлял цену до «по карману», набавляли небольшой солдатский рюкзачок хлебом, картошкой, ливерной колбасой, домашним сыром и всем, чем придется, что базарные люди, расстроганные песней, давали за так. Потом где-нибудь на соломке, если случалось на базаре, дядя Костя с моей помощью подсчитывал наличные. Сидел долго, тер лоб, резко вздыхал, о чем-то думал, а думы, видно, были тяжелыми, если в эти минуты дядя Костя делался совсем старым. Может, он думал о своих четырех огольцах, к которым он собирается вернуться, когда скопит деньжонок поболее, может, о своем домишке, совсем засиротевшем на берегу таежной речушки. Я не расспрашивал его потому, что однажды, когда полез к нему с вопросами, он резко ответил: «Помолчи!»

Дядя Костя делил деньги на три части, самую большую, вернее, половину всего, он отправлял по почте всегда по одному адресу. Я на всю жизнь запомнил его: Новосибирская область, Колпашевский район, деревня Абрамиха.

Две другие части наличных он делил поровну, одну — мне, другую — себе. От своей части я сразу же отказывался. Лучше пусть купит мне петушка на палочке. А он приносил их целую шапку.

...Картошка удалась на славу. Поджелтела, как луковица саранки, со всех сторон пропитавшись салом, поблескивала призывно, а Галина Хабировна все нахваливала меня и нахваливала. Подумаешь, искусство, как будто я на воде ее жарил. На постном масле всякий дурак сможет. Нахваливала и все подталкивала, ешь да ешь, как будто я ложку за гол-

нице спрятал. Еле успеваю прожевывать.

— Рассказывай, как же вы с дядей Костей расстались?

Я хотел сказать, что не расставался с ним и никогда теперь не расстанусь, адрес-то его помню, но вместо этого произнес покаянно:

— Растерялись мы с ним на вокзале...

— Как же ему без поводыря, без тебя-то? — спросила после некоторого молчания Галина Хабировна, словно я вот сейчас покидаю дядю Костю, и не прошло с того времени более полугода.

Совсем взрослый человек Галина Хабировна, учительница, а не поймет того, что не я был поводырем у дяди Кости, а он вел меня по жизни все то время, пока я был с ним. Без него я бы пропал. Что я знал, что я видел в своем шахтерском городке под крылом бабки? Это после завертело меня и объявился я далеко от того места, где угомонилась моя бабка, один-оденешенек с парой боксерских перчаток да с книгой Свифта «Путешествия Гулливера» за поясом. Не знаю, как вел бы себя Гулливер в моем положении, но мне было тогда очень плохо. И если бы я не сгинул, то затерялся бы где-нибудь в воровской компании, не встретить мне слепой дядя Костя. Он ничему меня не поучал, а держал лишь при себе как нужного и равноправного товарища. Даже когда выпить очень хотел, «камень душу давил», и то спрашивал моего согласия. Одному он меня наставил: жить надо, как бы трудно ни было, не во вред другим людям. Не толкать локтями слабых и калек. Соглашался я, а получалось часто совсем не так. И у зазевавшихся торговков таскал с прилавков, и погребла чистил. Но воровал я для желудка, он, бездонный, толкал меня на это...

— Почему не ешь? — спохватилась Галина Хабировна.

— Уже вот где, — показал я на горло, а сам подумал: распелся, разболтался и выказал себя обжорой.

— Галина Хабировна, а дядя Костя ведь с женой уехал. Отыскала она его, слепого. Узнала, из каких мест переводы приходят, у милиции справки навела и стала поездку проверять, о слепом гармонисте расспрашивать.

Так и нашла. Плакали они шибко. Дядя Костя целовал ей руки, а она голосила громко, как на похоронах. Милиционер заметил даже:

— Вот баба, радоваться надо, что мужика отыскала, а она — выть!

ТРЕТЬЯ СТОРОНА

В детдом его привезли вечером. Уже закончилась самоподготовка. В школе оставались только трудолюбивые, в основном, девчонки и те, кто накануне получил двойку. Они нетерпеливо ждали воспитателя, чтобы «удивить» его своими безупречными знаниями.

Звенели ведрами дежурные, хлопали швабры — шла торопливая уборка классов. Все спешили закончить свои дела. Ведь время после самоподготовки — вольное, занимайся чем хочешь!

Из музыкалки доносились визг, скрип, гудение, трескотня — не музыкальная комната, а пилорама. Каждый дул в свою дудку, как мог. Не верилось, что скоро эти нестройные, перебивающие друг друга, мало похожие на музыку звуки сольются в большой марш, веселую польку или в плавную, всегда немножко грустную мелодию вальса. Не верилось, но звуки вдруг оборвались, а через несколько минут грянул марш.

В это время и подъехала к крыльцу телега. С нее прыгнул молодой мужчина, отряхнул с одежды соломинки, что-то сказал пареньку с вожжами и, простучав по ступенькам крыльца, скрылся в здании. У него получилось все как-то ловко, под звуки марша. Ловко соскочил с телеги, отряхнувшись, одернул военную фуфайчку и ловко же пробарабанил по ступенькам крыльца, будто у него и не было круглой деревяшки вместо левой ноги.

А с пацаном все было не так. Он мешковато сполз с телеги, стащив за собой чуть ли не охапку соломы. Согнулся, долго ее собирал большими, как грабли, руками. Собрал, свернул, подошел к лошади, и та доверчиво потянулась к пучку соломы. Сормив его, он лишь тогда посмотрел по сторонам.

Уже стало известно, что в детдом привезли новенького. Когда и откуда успели узнать —

Люди кругом тоже и плакали, и улыбались. Дядя Костя меня с собой взял. Я очень был рад, но потом подумал-подумал — у него же своих четверо... И... потерялся, отстал.

догадайся. Желание посмотреть на новичка сильно у детдомовцев. Меня дней пять разглядывали, когда проходили мимо, бросали свои дела и, уставившись, долго следили, словно я с того света. Вот и сейчас окружили новенького.

Новичок, то поглаживая морду лошади, то подставляя ей пустые ладошки, в которые она тыкалась, как в корыто, тоже с интересом поглядывал на нас.

Большой, широкоплечий, рукава пиджачка короткие. Когда он гладил лошадь, они подтягивались до локтей, и руки казались толстыми и длинными, да и сам он был каким-то необычным, нездешним. Волосы, не приученные к расческе, торчали во все стороны из-под старенькой шляпы. Высокий шишковатый лоб, мясистый синеватый нос, пухлые, как у негра, губы, массивная, немного вперед, нижняя челюсть, а в ней маленькая веселая ямочка, как начало его добродушной улыбки, скрытой сейчас смущением и неловкостью.

— Кулачища-то! — сказал кто-то почти-точно.

— У нашего кузнеца — не меньше!

— То у кузнеца-а!

— Ножки — тоже дай бог!

— Сорок один, а то и два — размер.

— Тетя Маша — кастелянша — за голову схватится.

— ...и сознание потеряет.

После таких реплик новичок чаще прятал за морду лошади руки, переступал с ноги на ногу — в старых растоптанных сапожищах.

— А котелок-то, котелок... — сказал Костя-пузо, маленький, но острый на язык пацан, способный отбрезаться от ста человек.

Юрка появился внезапно. Он сделал полу-

круг возле новичка, примеряясь и прицеливаясь.

— Хорош жеребец!

— Это не жеребец, а кобыла Тая, — поправил новичок.

Но Юрка сделал вид, что не расслышал, дал еще полукруг и, уже обращаясь к пацанам, заинтересованно спросил:

— А что это, нового конюха в детдом приняли?

Может быть, Юрка еще придумал бы что-нибудь посмешнее, но новичок добродушно сказал:

— Нет, я не конюх, а в детдоме буду теперь учиться. Новый председатель сказал, что мне надо учиться. Он меня и привез к вам. А до этого мы с дедом, правда, с конями водились.

И потому, как он погладил лошадь, как потерялся о ее морду, и как она сама губами потянулась к нему, мы вдруг поняли, что он именно водился с конями. Не мог не понять этого и Юрка. Это и было самое главное, что резко изменило его отношение к новичку.

— Как зовут?

— Тая, — ответил новичок, снова прижимаясь к лошади.

— Тебя, тебя!

— Иванов... Кадыр...

— Кадыр? Че-то похоже на прозвище. Тебя, че, так и зовут?

— Ага. Татарин я. Дед — русский был, я у него — приемыш, потому Иванов. Отец татарин — Кадыром назвали.

Юрка подумал, подумал и сказал:

— Кадыр так Кадыр.

Кадыр стал третьей стороной треугольника. А выглядел треугольник так: крепкий, широкоплечий Кадыр, я — тонкий и узкий, одного с ним роста; тощий, маленький меж нами, Юрка, почти на голову ниже каждого из нас. Но несмотря на это, Юрка был высотой в нашем треугольнике, я — катетом, а Кадыр — гипотенузой, соединяющий эти два катета. Иногда, когда угол между катетами становился больше девяноста градусов, Кадыр прилагал немалые усилия, чтобы стянуть наш расплывающийся треугольник.

На мальчишечьем ряду не хватало места для Кадыра, и его посадили на девчоночий. Кадыр сел за парту с привычной для него невозмутимостью, опробовал ее прочность и остался довольным. А где сидеть: на первой парте или на последней, с мальчишкой или с девчонкой, ему было все равно. Скоро выяснилось, что в математике он «дундук», каких еще поискать. А давно ли Юрка поражался моей тупостью, да и у меня самого ныло внутри, как от тухлой селедки, стоило лишь вспомнить о задачах. Сейчас вот с Юркой наперегонки решаем. Не оставлять же теперь Кадыра, коль в дружбе поклялись. И Кадыр с прежней невозмутимостью перебрался к Юрке за парту, а я — на его место. Только спокойствие меня быстро покинуло. Девчонка, с которой сидел Кадыр, — Райка Павлова — наотрез отказалась со мной сидеть, вот как привыкла к новичку. А может, он ей понравился очень?

Затеяли мы пересаживание на уроке, с разрешения Галины Хабировны. И вот тебе на! Я стоял на виду всего класса, опозоренный, безвинно-виноватый, оглядывал класс, пытаюсь вспомнить, когда я такое испытывал.

Выручила меня Лиля Фалинская, белокурая, симпатичная девочка. Та самая, которая когда-то, на первом уроке, показывала мне язык.

— Я сяду с Алешей! — смело сказала она и, скорее всего забрав свое имущество из парты, перебралась ко мне.

Юрке почему-то все это не понравилось. Он надулся, нехотя разговаривал со мной, все больше с Кадыром, не водил меня в музыкалку — учить играть на «эсном» басу. Я все еще не потерял надежду овладеть музыкой, ведь ничего особенного вроде бы в этом не было: «Делай языком и губами так, как семечки выплевываешь, и пойдет дело». Но дело у меня шло неважно. Губы синели от натуги, приболели в уголках, а из инструмента, когда мундштук вытацишь, — водичка бежала. Даже по этому можно было понять, сколько трудов стоила мне «музыка». А тут еще Юрка дуется. Уткнется в свою трубу, и такое у него на роже усердие — позавидовать только. Но я же прекрасно знаю — свою пар-

тию он еще сто лет назад выучил. И чего глаза пучит?

Кадыр хоть и туго соображал в математике, но первым заметил, что наш треугольник разваливается. Питая добрые чувства к нам обоим (а к кому Кадыр плохо относился!), он сделал все, чтобы треугольник не распался. И мало-помалу это ему удалось. Вообще Кадыр скоро стал первым посредником, судьей и «замирилой» во всех спорах, ссорах и драках. Девчонки и те к нему со своими секретами лезут. Не было Кадыра в детдоме, ну и не было, как будто его вообще на свете не было. Обходились без него. И дрались без него, и мирились. Теперь же чуть что: «Айда к Кадыру».

Учился он так себе. По всем предметам было одинаково — пятерки вниз головой или, как еще у нас острили, двушечки-душечки. Юрка был отличником, и поэтому, может, ему мало задавали вопросов, но если задавали, то вопросы были мудреные, с подковыркой, с тайной надеждой, что он не ответит. Но Юрка всегда отвечал на самые настырные вопросы. Иногда день и два, и три думал. За это время он перекапывал чуть не всю библиотеку детдома и ответ находил. Мне нравилось в такие минуты бывать с Юркой в библиотеке. Пока я смотрел одну книгу, он успевал пролистать десять-пятнадцать, часто спрашивая: «Читал? Почитай! Стоящая!». Для каждой книги у него находилась краткая и точная характеристика. Я брал «стоящую книжонку» и открывал неожиданный, огромный, загадочный и таинственный мир звезд, о которых раньше знал лишь то, что они видны ночью. С библиотекой был связан еще один Юркин секрет. Никого туда не пускала Мэри Моисеевна — воспитательница, которая отвечала за библиотеку, а Юрке доверяла ключи. Я думал, что такие льготы Юрке как отличнику, и лишь случайно разгадал секрет,

когда принес в библиотеку прочитанную книжку. Юрка меня, как чужого, огорошил:

— Книгу не приму!

— Ты че?

— Возьми! — сердито сказал Юрка, — подклей ее, все листочки. Сам проверю.

— Чума! Я же ее такой брал, растрепанной.

— Ну вот, а отдашь причесанной, — засмеялся Юрка, — иначе ни одной не получишь.

Он смеялся, но я понял, что если не выполню его требование, больше книг из библиотеки мне не видать.

Я неохотно забрал книгу, целый вечер подклеивал листочки, мне усердно помогал Кадыр. Он оказался в этом деле мастером непревзойденным, словно только тем и занимался раньше.

— Не-е, — разуверил меня Кадыр, — хомут шил, попону шил, шлею, уздечку, вожжи — шил. Книг? Нет.

Получилось, что Кадыр чинил книгу, а я ему только помогал, в душе ругая Юрку за то, что он не хочет простить мое сидение рядом с Лялей Фалинской. Теперь-то я уже знал точно — она ему нравится.

Назло Юрке корочки книги подписал красивым печатным шрифтом. Это я делал так, как никто другой. Кадыр молча наблюдал за моей работой, а потом даже языком поцокал:

— Хорош конь, ох, хорош конь!

— При чем здесь конь? — удивился я.

— Хорошую работу только с хорошим конем сравнить можно. — И попросил: — возьми мне книжку.

— Про коней?!

Кадыр покраснел, опустил голову. Пыхтел, пыхтел и ляпнул:

— Про самолеты. Только молчать будешь? Это мой секрет.

— Могила, — успокоил я его.

НА РЕКЕ

Весело перебираем картофель в овощехранилище. Суетливое и вкусное это занятие. То погрызешь прохладной, еще совсем крепкой

и сочной морковки, которую втихую вытаскиваем из песка, то почистишь подгнившую и потому тоже сладкую особой сладостью кар-

тошку. Девчонки ее не едят, да и среди ребят немного любителей. Я ем с большим удовольствием, и Ляля, которая отбирает в нашу с Кадыром корзину хорошую картошку, презрливо морщится. Вдруг она выпрямляется и просит:

— Морковочку бы хоть очистили, обжоры!

Первым спохватывается Кадыр, он почти срывается и несется в дальний, самый темный конец хранилища. Мне остается только проводить его глазами и усердно продолжать работу.

— Между прочим, я тебя просила,— говорит Ляля,— принести морковку.

— Ты же сказала «обжоры».

— А разве не у тебя рот не закрывается?

Я молчу, боясь окончательно попасть впропак. С девчонками не могу разговаривать, а с Лялей шепчемся только на уроках. А так неудобно как-то. Вот с Римкой — другое дело. Римка была совсем, как мальчишка.

— Ты что, оглох? — спрашивает Ляля и тянет мне чистенькую морковку.

— Не хочу я!

— Ешь, не лмайся. Кадыр вон сколько принес!

Кадыр улыбается во весь рот, словно он посеял, вырастил, выкопал и вот угощает щедро из своего урожая.

— Не буду! — упрямо твержу я.

— Я тоже не буду, — вдруг говорит Ляля нахмурившись, смотрит на меня.

— Ну че ты, — тяну я, — я лучше картошку съем.

— Нет, морковку!

— Ладно, морковку так морковку, — соглашаюсь я и злюсь, что подчиняюсь капризу.

А Ляля снова весела, одной рукой перебирает картофель, в другой — морковка.

— Пойдемте кататься на речку, — предлагает она, когда мы с Кадыром поднимаем корзину. — Ну? — Ляля в упор смотрит на меня, потом на Кадыра, и он говорит:

— Пойдем!

Мы стояли на вершине «бойца», оглядывая с вершины птичьего полета тот берег, вправо — пологий, поросший черемухой, калиной, осиной, березняком, обеленный и заснеженный, отчего деревья и кусты на этой белизне

казались едва заметными штрихами, будто кто-то наметил их слегка карандашом, а прорисовать, прописать красок не хватило. Зато левый берег поднимался крутым горбом наполовину срезанной горы. Словно подтверждая это, ухнуло сразу один за другим несколько взрывов, взметнулось серое высокое облако над горой. Едва замолк гул взрывов, как облако пролилось градом больших и малых камней. Камни поменьше, опадая, текли, не текли даже, ползли неширокими темными потоками по крутому, изрытому взрывами склону; большие же глыбы неслись, обгоняя и подгоняя каменные потоки, наскакивая друг на друга, скрываясь в низине, куда не доставал глаз. Там был известковый завод.

Внизу пролегла накатанная санная дорога, от скалы она уходила чуть ли не к тому берегу, делала крутой изгиб мимо острова и подходила к нашему берегу совсем вдалеке тонкой серенькой лентой. Лед на середине реки, хоть и под снегом, но видно по теням: бугрится, торосится, напоминая не то сахар-рафинад, не то сало из больших банок американской тушенки. А под скалой, ближе к берегу, снег дуло, оголив стеклянную прозрачность и легкость льда. Туда мы спустились по крутой тропинке, держа друг друга за руки. Я замыкал четверку, неловко опираясь, а то и просто наталкиваясь на широкую спину Кадыра, который к тому же все время поддерживал Лялю. Юрка на середине склона отцепился и побежал с криком вниз. Он без фокусов не может. Ухарь. Я хоть и сердился на него, и ругал, а все-таки завидовал и отчаянию его, и смелости, и ловкости. Вот он промелькнул, скрылся в ложбинке и вдруг выскочил на лед. Его тело так низко склонилось в полете, что похоже, и руки упираются о лед.

Мы поспешили к Юрке. Ляля смотрела на него с восхищением. Я опять завидовал ему. Мне казалось, Юрка ни минуты не может быть одним и тем же. Он каждый раз совсем другой. Но разве возможно такое? Вот и сейчас он не замечает нашего удивления.

— Юрка, ты орлик! — засмеялась весело Ляля. — Где твои крылья, покажи?

И вот Юрка опять новый. Я думал, он на-

хмурится, как бывает, когда его хвалят, а он улыбнулся, не скрывая радости. И мне захотелось тоже совершить что-нибудь такое, особенное. Я уже заметил, что в метрах ста от нас, где остров прижимает протоку к скалистому берегу, образовались высокие наплывы, как на мороженом молоке, они, словно плотина, перегородивали протоку. Я вышел на берег. Мои товарищи не обратили на это внимания. И лишь когда я взобрался на уступ, а с него прыгнул на бугристую наледь, что-то громко закричал Юрка и замахал руками, пронзительно завизжала Ляля. Но я уже слабо соображал, что делаю. Подхлестнутый криками, побежал по ледяной плотине, надеясь на одном дыхании добраться до острова.

Все обошлось бы благополучно — беги я, не обращая ни на что внимания. Но я заметил, что под ногами хлупает и они куда-то погружаются. Я остановился и, к ужасу своему, вдруг стал оседать, терять опору, я, как горячий металл, втаивал в лед. И вдруг ухнул в воду по грудь. Испуганным взглядом уловил я Юркину смешную фигуру, широко, как чучело, расставившую руки.

Не я, а кто-то другой внутри меня, так же раскинул руки. Я ушел под воду с головой, но руки, застрявшие на краю промоины, не позволяли течению затянуть меня под лед. Я вынырнул, почувствовал всем телом ожог ледяной воды. Сознание мое отчаянно заработало, оно не хотело мириться с такой нелепостью. Я заметил сначала одного бегущего ко мне человека, потом второго, третьего, и наконец, пятого, целую цепочку людей, то мерцающих красными точками, то вспыхивающих огненной струей. Надо дрыгать ногами, как лягушка, я ведь видел, как она делает лапами, и мне надо так. Я задергался и, кажется, закричал. Яркий свет резанул глаза и померк. Я тонул в полной тишине, мягко стучаясь то о каменистое дно реки, то наткываясь на острые наросты подводного льда. А я-то считал, что лед под водой гладкий. Но почему я думаю? Ведь я утонул. Эта холодящая, словно льдинка, мысль пронзила, заполнила меня, подбросила, и в уши мои ворвались громкие пронзительные звуки...

Я открыл глаза, закашлялся так, что оглох, и снова потемнело в глазах. Кашель сотрясал мое тело, и толчки эти как будто вырывали меня из промоины. На самом же деле выдернул меня оттуда Юрка. Не будь рядом Кадыра и Ляли, которая замыкала эту спасительную цепочку, он бы и сам туда угодил.

Когда выползли на безопасное место и кашель был уже слабее, Кадыр повернул меня на спину и так даванул на грудь, что я чуть не закричал от боли. Очумел, что ли?

— З-зачем т-ты, Кадыр? — спросил Юрка.

— Дыхание искусственное делать надо. Закашлялся совсем.

— Дра-а-пать надо-о ск-к-орей, пока-а не о-к-колели! — Юрка стучал зубами.

Как ни странно, а от Кадыровского давка я перестал почти совсем кашлять и почувствовал вдруг такой холод, что страшно стало. Захотелось вдруг рвануться и бежать от этого губельного места, от мороза, от коварной реки, которая чуть было не утащила меня под лед легко и равнодушно. Но я смог лишь стать на четвереньки, Юрка с Кадыром тут же подхватили под руки. Ноги меня не слушались, временами мне казалось, что их совсем нет, и ребята несут меня на руках. Я смотрел вниз, видел заledenелые штаны, ботинки и белый, мягкий пушистый снег. Его не чувствовали мои стынущие ноги. В спину серdito подталкивала меня Ляля...

В прачечной, куда мы притаились, нас встретила тетя Маша — кастелянша, та самая, которая отскребала меня от грязи, когда я поступил в детдом.

Она прогнала Лялю, заставила ребят раздеться быстренько и лезть в чан. С меня одежду стянула сама. Кадыр с Юркой откалзались лезть в теплую воду, а я готов был — хоть головой в печь...

Тетя Маша терла мое тело, заставляя приседать на корточки, и я погружался в теплую воду по самое горло. Приподнимала худыми сильными руками и я, как карапузик в ванночке, погружался в воду ниже пояса, стеснительно зажимая колени.

— Но-но! Купальщик мне,— покрикивала тетя Маша,— поди отморозил все, а туда же, закрывается.

Тело кололо, ныло, болело, и каждое прикосновение беспощадных и теплых рук тети Маши заставляло сжимать крепко зубы, чтобы только не закричать.

ТЕТЬ ПОЛЯ

...Тетя Поля вся белая: волосы, круглое лицо, халат — осторожно трогала мой лоб. Пальцы у нее были совсем холодные, вроде бы она только-только пришла с улицы, и мне показалось, что я не спал совсем, а лишь на мгновение закрыл глаза... В комнате горел свет, чернели над занавесками стекла и еще было что-то такое позднее и изменившееся, что говорило о приближении ночи.

Тетя Поля покачала головой и тревожно спросила:

— Ты что, Алеша, надумал? Болеть? Не надо. Болеть нельзя.— Она говорила, как требовала, как приказывала и, несмотря на это, меня сильно знобило, даже трясло.

Она принесла каких-то порошков, кружечку с водой.

— Выпей-ка это, солдатик мой.

Пока запивал лекарство, совсем околел, зубы стучали о кружку, подрагивали руки, было трудно дышать, словно рот и нос укутали крепко шалью. Я с силой втягивал воздух, а он как будто не доходил до легких и весь с таким же трудом выходил обратно. Все силы тратились на дыхание, вялость и слабость заполняли меня, стыло тело.

Тетя Поля укрывала еще двумя одеялами с соседних коек, сверху положила старенькую шубейку, и сразу же запахло почему-то залячей дедовой шапкой. Я жадно вдыхал этот запах, он нес облегчение и тепло.

Болел я тяжело и в редкие минуты выныривал из забытья. Видел около себя то бабу, то Риму, то Лидию Яковлевну, но не успевал ни удивиться, ни обрадоваться — впадал снова в беспамятство.

Однажды я открыл глаза. Надо мной медленно плыли белые облака, и было тепло, как

Юрка грелся у печи, а в чан лезть наотрез отказался. Не пошли они и к нашему врачу, медсестре Полине Алексеевне, куда повела меня после всего примчавшаяся Галина Хабировна.

— Водолазил-то он, а не мы! — отшутился Юрка.

в летнем лесу. Потом облака остановились, застыли и превратились в беленый потолок. Не веря самому себе, перевел взгляд в сторону — стены, еще чуть повернул голову — на стуле незнакомая женщина с опущенной головой. Боясь, что все это исчезнет, я заорал: «Бабка!» — но голос застрял где-то внутри, и только слабое эхо его уловили мои уши. Женщина вздрогнула, внимательно посмотрела на меня, вскочила, наклонилась и прильнула ко мне. Волосы ее мягко и щекотно коснулись лица, вдруг напомнив мне пушистую кедровую ветку, проросшие вкусно-сладкие орехи, и я попросил в теплое ухо тети Поли:

— Орешков бы мне, кедровых...

И только после моих слов тетя Поля заулыбалась, засуетилась.

— Наконец-то, Алешенька: я ведь верила.— Она всплеснула руками: — Что ж я, дурная голова, тебе ж поесть надо!

И я почувствовал такой голод, словно три дня не ел. Еле дождался ее.

Тетя Поля принесла тряпичный сверток, размотала его, вынула маленький чугунок с душистой манкой. Голова шла кругом от вкуснятины такой и, как картофельная баболка на прутике, болталась на слабой ше, когда я пытался приподнять ее, сглатывая слюнки.

— Ну, не дергайся, не дергайся,— говорила тетя Поля, подсовывая под голову удобную ладошку, — будем есть вместе, — и другой рукой она поднесла чайную ложечку каши, еще горящей, но уже съедобной.

С каждым глотком каши силы прибывали во мне столовыми ложками, я уже не боялся, что снова уплыву в черную темень и, насы-



тятся, уже не бегал глазами за ложкой, чаще задерживал взгляд на нашей лечилке.

Она похудела, ямки на ее щеках стали глубже, и лицо уже не такое белое, лишь глаза те же: серые, быстрые, веселые и одно-

временно чутьчку грустные, как у Лидии Яковлевны. Только у той глаза были, как антрацит, черные и блестящие, а грусть на самом донышке зрачков, не сразу заметишь. А может, это не грусть, может, усталость? Усталость бывает грустной? У тети Поля муж на фронте воюет, а сама она здесь с нашими болячками воюет.

— Я, Алеша, сейчас.

Она быстро вернулась и подала три шишки: самых настоящих, кедровых. Глаза от удивления чуть у меня не выпали, да шут бы с ними, если бы и выпали, а то пощипывать стало их. Проморгался я, продышался, а поверить в такое чудо не могу. Рукой шишку потрогал. Настоящая, живая, под бугристыми чешуйками орешки затаились, как птенчики.

А тетя Поля радуется вместе со мной, улыбается и говорит что-то о посылке из деревни.

— Дядя Костя, — прошептал я.

— Да. Он на твоё письмо ответил. А когда мы с Галиной Хабировной написали, что ты болеешь и плох очень, он меда прислал, сушеной малины, варенья, масла, — она с радостью перечисляла все, что прислал дядя Костя, — да еще трав и кедровых шишек.

— А теперь письмо дяди Кости слушай: «Дорогой сынок, Алеша, несказанно рад сообщить, что неожиданно получили твоё письмо, за что благодарим тебя очень, — тетя Поля письмо читала медленно, разборчиво, перечитывая некоторые фразы несколько раз, растолковывала слова, как когда-то мне Юрка — задачи по арифметике, — шлем тебе гостинец и низкий поклон. Твой названный отец дядя Костя и вся семья. Письмо писал мой старший сын Евсей. Учиться ему было мало. Помогал на селе, так что грамотён не очень, извени». — Тетя Поля прочитала, бережно разглядела письмо, вздохнула глубоко и ясно.

— Какие люди! И своё горе тянут и чужую беду на себя берут, — сказала она после некоторого молчания доверительно и строго. — Вот, Алеша, что значит доброта. В горе и нужде быть добрым, наверное, самое трудное.

Слова ее я запомнил.

В свободное время днем, а чаще вечерами, мы уютно и душевно беседовали с те-

тей Полей. Она незаметно своими вопросами подвела меня к разговору о бабке. Знал ее в бреду.

О бабке я мог говорить, пока хватало сил. Вспоминая ее, вспоминал Римку, Лидию Яковлевну, перескакивал с одного на другое, путался, поправлял сам себя, но тетя Поля слушала внимательно, пока не наступили сумерки и до моего слуха не донеслось:

— Уже поздно. Пора спать.

...Добрейшая тетя Поль, лекарь вы наш бесценный, если судьба была не умереть мне, то эту судьбу сотворили вы своими руками. А ведь у вас и своих забот полно, долго нет писем с фронта. Печален ваш взгляд, опали плечи. Тетя Поль, ну не надо так! Вот увидите, мы отомстим фашистским гадам за все, за все, и за вашего мужа...

...Однажды меня разбудил голос Галины Хабировны. Я открыл глаза. Тетя Поля, как всегда, сидит возле, а рядом Галина Хабировна.

— Пить, — попросил я.

Тетя Поля улыбнулась бабкиной улыбкой, встала поспешно и подала в кружечке теплое молоко, как будто знала, что я сейчас проснусь, и грела его за пазухой.

— Не торопись, не торопись, — сказала Галина Хабировна, когда я, захлебываясь, стал пить. Взяла кружку у тети Поли, а ей велела сейчас же отдыхать.

Напившись, я отдышался, обвел взглядом потолок, стены, койку рядом, где прикорнула тетя Поля, и перевел взгляд на Галину Хабировну.

— Как долго вы не приходили! — сказал я, — я так ждал!

Галина Хабировна закивала головой, улыбнулась.

— Я, Алеша, в городе была... А ты все спишь, спишь...

— Засоня? Значит, я поправляюсь...

— Поправишься, Алеша! Иначе мы расхвораемся, а Полина Алексеевна — первой.

— У нее горе?

Галина Хабировна не удивилась моему вопросу, только покачала головой.

Одно большое горе приходит к женщинам, когда война, но вот как я мог догадаться о горе тети Поли, сам не понимал. Мы долго молчали. За это время я как-то ясно вдруг понял, что болею давно и тяжело. Вспомнил, как заболел.

— Галина Хабировна, где Юра?

— Юра?.. — Галина Хабировна ответила не сразу, — Юра в детском санатории...

— Санаторий это... больница?

— Не совсем... но врачи там хорошие. Юра учится...

— Он болеет?..

— Да. У него туберкулез, — Галина Хабировна ясно, как на уроке, произнесла слово «туберкулез», — тяжелая болезнь, но Юра поправится. Юра обязательно поправится! — Она наклонилась ко мне, провела рукой по голове. — И ты быстрее поправляйся! В школу надо!

Наконец допустили ко мне ребят. Первыми пришли Кадыр с Лялей. Кадыр издали улыбался, а Ляля болтала вовсю. Она теперь занимается с ним, и в этой четверти у него уже не было двоек.

— А Юрка? — неожиданно спросил я.

Ляля замолчала, насторожилась. Перестав улыбаться, Кадыр медленно заговорил:

— Плохо с Юрой случилось... После того... — он подбирая слова, а я понимал, после чего, — кашлять стал. Кашлял, кашлял, а сам уже болел... Ты болел, он болел... С тобой тетя Поля была... Сейчас уже лучше.

А прощаясь, он все-таки не удержался:

— Одна глупость — две беды!

Кадыр прав, как всегда.

ЗДЕСЬ Я ЖИВУ

Богатырская гора нависает над рекой крутым выпуклым обрывом, напоминая сказочного великана, вошедшего по пояс в воду и вольно, широко раскинувшего руки — две

каменные косы, настырно преграждающие течение реки.

Бурлит, пенится она здесь, и белая грива ее долго трепыхается на волнах, вырываясь

из крутых и опасных воронок, в которых бревна ставит на попа, и большие плоские льдины весной, медленно кружась, вдруг начинают с треском лопаться с середины, легко, как яичная скорлупа под ногами. Зрелище — притягивающее. Можно часами смотреть: река начинается у самого солнца и, петляя, течет вдаль, туда, где небо прильнуло к земле.

Такие скалы здесь зовут «бойцами», и ни один не похож на другой, а Богатырский «боец» — особый. На племе, наклоненном в сторону реки — будто смотрит великан в воду, — на самой вершине его, где в продольных расщелинах живут kobчики, чудом лепится белесый лишайник, все остальное сметено ветровыми дождями, — никто из детдомовцев еще не побывал. Но вершина эта, где глазу зацепиться не за что, не то чтобы руками, волнует наше воображение, манит своей недосыгаемостью и ждет храбреца.

Кто будет первым? Есть среди нас такие? Конечно, есть. Вон Шандер и Котя стали уже чемпионами. Искупались в реке во время ледохода. Правда, Котя плюхнулся разок и пуглей на берег, а Шандер доплыл до ближайшей льдины, вскарабкался на нее, попрыгал, как дикарь, там, нырнул в студеную воду, и, словно в парном молоке, чинно так приплыл обратно. Котя прыгал на берегу, будто ему уголек между ног незаметно сунули, Шандер же, как и подобает чемпиону, тер грудь и улыбался. Зато теперь он печально-серьезен, улыбается редко, больше морщится, на шее у него ожерелье из пяти чирьяков — «венки чемпиона». Когда Шандера окликают, он поворачивается окостенелым туловищем и недовольно тянет:

— Ну че-ё надо?

А пацаны недоуменно поглядывают друг на друга: мол, ничего не надо. Тебя никто не звал.

Шандер, догадываясь, показывает кулак Коте, сейчас совсем безопасный, а тот, словно вспомнив, говорит:

— Да, Шандер, мне дядя Ваня говорил, что от этого дела, — Котя показывал на шею, — хорошо помогает табачный лист. Где только его взять?

Ошарашенный Шандер, измученный бессонницей и болью, недоверчиво, но с надеждой:

— Да ну-у?

— Вот те крест, — божится Котя, — а коль листа нет, хорошо махрой посыпать. А? Я припас чуток.

Все смеются, а Шандер обещает:

— Погоди, я тебе по-сы-ы-плю!

Коте повезло после купания, даже насморка не было, а славу делит «на равных».

Иногда вечерами, оставшись в классе, пока учит Ляля Кадыра грамматике, я писал Юрке письмо. Не зная, что ему интересно, собирал всякую чепуху. Увидел первую бабочку-репейницу. Она порхала у прогретой стены школы, как яркий цветной лоскуток, садилась на черные бревна, медленно поднимая и опуская крылышки, будто дышала ими и не могла надышаться. Откуда она взялась? Написал Юрке, потом спохватился. Смеяться будет. А он ответил, что от моих писем пахнет детдомом и лесом, и радуется он им, как я первой бабочке. Вот тогда-то я стал писать чуть ли не каждый день подробно, с продолжениями письма и заставил Кадыра заниматься тем же. Но он делал все основательно и письма стал писать хоть и редко, но обстоятельно, по пунктам. Один раз «в первом пункте» он написал: «Учусь хуже хорошего, пока на тройки, но думаю — на пятёрки». Юрка отвечал: «Кадыр, нетерпеливо жду, когда будешь учиться на пятёрки, а думать на тройки, — немного дальше он добавлял как бы для всех: — А пока я и сам не знаю, кто лучше: думающий троечник или бездумный отличник?». Над этими строчками я долго ломал голову. Что Юрка хотел сказать?..

Ляля уходила, а мы с Кадыром брались за арифметику, он от стараний ошалел, но годовую оценку хотел иметь хорошую. Вот и вгонял я его в пот, сердился, ругал — выдержки у меня меньше Юркиной, но и Кадыр понимал, что учителя с ним чикаться не будут...

Зато из классной духоты мы высказывали довольные друг другом, как будто мы помирились с ним после долгой ссоры.

...Снег с южной стороны Богатыря сошел совсем неожиданно: кто-то сдернул с него загрязненную простыню, как с матраца перед баней, обнажив неприглядную серость Zapлат.

Мы жгли прошлогоднюю траву, и склон, почти до первых сосен, покрывшись черными пятнами разной формы, стал напоминать тигровую шкуру. Но пятна гари скоро сменились яркой зеленью, как дружные озимые на полях, освобожденные из-под снега.

Весна не гостьей явилась, а доброй хозяйкой пришла: в сиянии солнца, ослепительном блеске луж, лужиц и ручьев, растормошив всех, наполнив все кругом бодрой суетой. Хотелось кричать до хрипа, прыгать до неба, бежать куда-то, сделать что-то такое, чтобы все ахнуло.

Повизгивали, тявкали, кружились волчками у ног хозяев детдомовские псы, норовя лизнуть в лицо зазевавшегося покровителя. Воздух кружил голову запахом хвой, березовых веников, свежих огурцов, ароматом земляники и смородины, черемухи, теплом парного молока. А вдруг это только казалось, и запахи хранились во мне, как приятный полузабытый сон, как новогодний подарок деда-мороза, которого нет, но который все-таки есть и всегда будет.

...А радость большая еще потому, что гонит Красная Армия гитлеровцев поганых, вот-вот вышвырнет их, очистит землю нашу от вонючих гадов, и, словно салютуя победам, гулко бухает лед на реке, и мы с воем несемся на берег, на бегу выкрикивая:

— Так им! Бей их! — Это мы расстреливаем метко фашистские танки, бьем врага...

На Богатырь Кадыр пришел позже всех, молча достал из объемистых карманов, как из сумки, десятка полтора картошин — в это время редкость необычайная — сразу же нашлись охотники помыть ее, принести дровишек для костерка, а несколько храбрых самозванцев отправились за слизуном-луком, который растет на кручах скал. Каждый из добровольных помощников надеялся на долю за труд, пусть самую малость. Не напрасно надеялись, потому что Кадыр хоть и не страдал отсутствием аппетита (ему, такой глы-

бине, сколько надо), имел привычку «добычу» всю делить на всех присутствующих. А «добыча» досталась «горбом» — ему вообще все стоило трудов — мы бежали в лес к реке, а он колол дрова на кухне или носил в свинарник ведра с пойлом, доставал из хранилища картофель, капусту или чистил котлы...

Правда, и все не бездельничали, работы хватало и на подсобном хозяйстве, и в детдоме, но дела свои мы старались закончить как-нибудь побыстрей, а то и просто смыться незаметно. А Кадыр уходил всегда последним, доделывая то, что всегда не успевали мы или не считали нужным.

Он зарабатывал себе дополнительные калории, а потом делился по-старшински, несмотря ни на «ранги», ни на особые достоинства, но только законченных лентяев и волынщиков не жаловал.

Запылал костерок из хвороста, сучков, шишек и прошлогодней травы, дым поднимался тоненькой струйкой — кто-то тянул вверх белую нитку пряжи.

Кадыр сидел, обхватив колени руками, будто поднимал тяжесть, и сам он напоминал со спины большой окатанный камень среди бело-оголенной братвы, копошившейся у костра.

— Вот, смотри, — неожиданно повернулся ко мне.

Я полулежал за его спиной, смотрел на реку в овале холмов, на плоские льдины, плывущие по ней, похожие на обрывки бумаги, на тот берег с сиреневым осинником, с подпалинами черемухника, с зелеными пятнами сосняка, с голубой занавесью неба.

— Ты мне?

— Вот, смотри, — начал он снова.

— Куда?

— Ну, ты слушай, — Кадыру очень хотелось поделиться чем-то и он не обратил внимания на мой ехидный вопрос, — вот сидел так когда-нибудь человек у костра. Сидел, смотрел...

— А на костре жарился барашек...

— Да нет, смотрел на дым, как он поднимается вверх, и думал.

— Когда же сжарится барашек?

— Да нет же, — ответил с досадой Ка-

дыр.— Я читал о воздушном шаре. Два англичанина додумались. А сейчас вот смотрел, как легко поднимается дымок, и мне почему-то показалось, что и я бы мог придумать воздушный шар...

— Интересно-о?

— Тебе когда-нибудь,—Кадыр возбуждался, и явным признаком этого была его замедленная речь,— тебе было дико, что все так просто?

— Было дико.

— Ну вот,— он улыбнулся, напряжение на лице, которое делало его почти взрослым, исчезло.

— Зимой... показалось, что последний раз увидел белый свет и,— я вздохнул,— было дико.

— Ну тебя! Зачем ты таким непонятливым делаешься? Ему одно,— он придвинулся совсем вплотную,— полететь охота!

После его слов стало неловко: мне казалось, что, глядя в костер, он о картошке печеной думает. Вот тебе и Кадыр! Выходит, мечта эта не блажь, не минутное, внезапно вспыхнувшее желание. Откуда она у него, умирающего по лошадям, готового целовать их морды, разговаривать с ними, как сейчас со мной? Но мечта о самолетах, я только сейчас ясно понял, сидит в нем, как гвоздь в дереве — по самую шляпку. И об этом он ни слова. Даже Ляле. А со мной делится.

— Трудно, Кадыр, будет! Ох! — сказал я после долгого молчания, не надеясь, что он поймет меня.

Но он понял. Оживился, заулыбался, и лицо его стало широким и светлым, как абажур.

— Ничего. Я смогу захотеть. Я же тренируюсь, штангу толкаю...

А штанга у Кадыра — два колеса от какой-то вагонетки на березовой палке. Каждый день он поднимает ее на один раз больше.

У меня тоже есть мечта. Стоит ли сейчас говорить о ней?

— Кадыр, пойдем на вершину сходим.

— Пошли... Сейчас.— Он по-хозяйски пошарил сучком в костре, выкатил несколько картошин, побросал их в карман и, оттягивая штанину,— жглись они — догнал меня.

Здесь было прохладнее — тянул ветерок, которого совсем не чувствовалось в ложбине. До неба было рукой подать. Встань на цыпочки, протяни руку и — вот оно.

Мы подошли к самому обрыву, внизу бурлило, ломались о камни льдины, кружились в вихороте, ныряли в воронки.

— У тебя голова как? — спросил я.

— Как голова? — не понял Кадыр.

— Кружится?

— Нисколько!

— Если связать пару вожжей,— начал я без всякого пояснения,— можно спуститься на вон тот выступ. Видишь?

— Ну?

— А с него, если иметь багор, легко зацепиться за расщелину и тогда можно подняться на самый шлем.

— Ты другого места не нашел шею свернуть? — спросил Кадыр, совсем не увлекшись моей идеей.

— Не шею, дура,— рассердился я,— а флаг, понимаешь, красный флаг к Первому мая там укрепить.

Он задумался. А я наседаю:

— Вожжи ты на конюшние достанешь вечером, а багор я уже присмотрел в пожарном ящике. Только шест надо покрепче и подлиннее. Согласен?

Он молчал.

— Согласен или нет? Если нет, я один полезу.

— Надо подумать,— наконец вымолвил он, как будто за это время нельзя было.

— Любишь ты подумать, как говорит Юрка.

— Он говорит еще: плохо думать — лучше совсем не думать.

— Эх, Кадыр, а еще летать собираешься!

— Летать — это хорошо! Полететь со скалы — плохо. У Шандера шея не крутится, а он только искупался... Думать будем.

На самоподготовке Галина Хабировна подала мне два письма. Юркино я сразу же прочитал и обрадовался. Новости хорошие, его летом обещают отпустить домой — к нам, значит.

Долго не решаюсь вскрыть другое письмо с московским адресом. Волнуюсь, гадаю, от кого оно может быть?

Я никогда не получал писем из Москвы, а там ведь Иосиф Виссарионович Сталин живет! Михаил Иванович Калинин! Семен Михайлович Буденный! Клим Ворошилов!

...Из конверта выглядывает фотокарточка. Сашка! Сашка Кленов! Красноармеец?!

Сердце мое стучит так, будто я уже взобрался с флагом на шлем Богатыря, на вершину, где до этого были одни кобчики. Я перечитываю строчки письма, слово за словом, и стук сердца отдается в висках...

Лидия Яковлевна! Лидия Яковлевна!.. По-

чему мне немного грустно?.. От того ли, что не стал когда-то вашим сыном? А сейчас нет такого желания. Нет, не то! Но другое теперь все совсем, братья у меня здесь и сестры, дом мой здесь: вот эта парта, терпеливо ждущая Юрку, класс, три окна, стол Галины Хабиловны, доска — все привычное и свое, еще спалка: железная койка, соломенный тюфяк, пахнущий полем, колючее, как из колосков ржи, суконное одеяльце, простыни с застиранными снами детдомовцев, тумбочка с богатством на всех; сушилка, умывалка, уборка — все свое, все наше. А еще: лес, горы, овраги, река, небо — здесь мой дом.

Здесь я живу...





Павел Майский

Пришествие ко мне отца,
Николая Ефимовича, погибшего
во вторую мировую войну.

* * *

Бесхозный, подгоревший старый дом,
Стол, пара лавок из пиленных досок,
Помятый алюминиевый бидон
Под молоко, которого здесь вдосталь,
Отцовская двустволка (у цевья
Защелку заменить бы надо новой)...
Ну вот и все, чем обзавелся я
За жизнь свою для счастья отпускного...
И вот вчера, как травы от росы,
Отяжелели, ночью, где-то в час так,
Остановились на стене часы,
И кто-то тихо в сенцы постучался.
Я отпер двери, вышел в лунный свет
И вижу: под полуночной звездой
Стоит знакомый чем-то человек,
Такой как я, но только с бородой.
— Кого вам? — я спросил его, а он
Прошел на кухню, не ответив толком,
На лавку сел, стянул с гвоздя двустволку,
Переломил и, посмотрев на свет,
Задумчиво полою ложу вытер:
— Купи ты себе новую в Москве,
Того гляди, поразорвет стволы-то... —
Потом с бидона крышку приподнял.
Взглянул. О чем-то чуточку подумал
И, посмотрев с грустинкой на меня,
Вдохнул: — Больная печень на роду нам... —
И все... Потом он тихо в сени вышел

И от порога строго произнес:
— Ты мать-то на недельку бы привез,
Пускай старушка воздухом подышит...—
Потом ступеньки скрипнули крыльца,
И жутковато скрипнула калитка.
И — тишина... И я тихонько всхлипнул,
Как в детстве на могилке у отца.

* * *

Лето знойное. Даль бронзовеет.
Августовские тени легки.
И прохладой обманчиво веет
С берегов обмелевшей реки.
Сохнут травы в осиновой роще,
Бор полуденной дремой объят,
И ромашки метрового роста
На проселке кустами стоят,
И вразвалку пускаются тропкой
Поселковые гуси к реке...
И взбирается божья коровка
По моей загорелой руке.

* * *

За рекой в луга садится солнце,
Тишина сгустилась на селе...
Но хрипит транзисторный Высоцкий
В соснячке из синих «Жигулей».
И спортивно-развитый, «тверезый»

г. НОВОКУЗНЕЦК

Юноша, колдуя над костром,
Составным туристским топором
Расчленяет белую березу...
Ту, что четверть века беззаботно
Красовалась на краю села,
Под которой дочка в ту субботу
Два большущих рыжика нашла.

* * *

Из тайги выхожу под вечер —
Зелено в глазах от осин...
От села ветерок навстречу
Поднимает тепло с низин,
Даль туманами занавесило,
Звезды выглянули уже...
Так отрадно, легко и весело,
Так уверенно на душе!
Подхожу к избе огородами —
Мать с веревки снимает белье...
Вот и все. Вот и вся моя Родина.
Все нехитрое счастье мое.





Василий Долгих

ВЫШУЖДЕШАЯ ПОСАДКА

РАССКАЗ-БЫЛЬ

1

Купание взбудило летчиков. Они, отдохнувшие и посвежевшие, направились к вертолету. Здесь толпились люди.

— Ну что, поехали? — весело спросил подошедший командир вертолета.

— Поехали, — за всех ответил начальник партии.

— Поехать — не вопрос, — сказал бортмеханик. — А вот как ехать? Ты посмотри, командир, чего везем? Борт просили под домашние вещи, а погрузили — черт знает что. Пчелы да свиньи...

— Твоя работа, Петрович? — поинтересовался командир у начальника.

— Моя, — ответил тот.

— Груз не по кондиции. Вместе их везти нельзя. Давай что-нибудь одно...

— Ясно, — сказал Иван Петрович. — Инструкцию, конечно, уважать надо. Но и меня пойми. Груза тут — кот наплакал, а в розницу — и ста килограммов на рейс не наскребешь... Бензин без толку спалим — и только. Не по-хозяйски это...

— Не могу, Петрович. Инструкция, — отнекивался командир.

— У тебя инструкция, а у меня работа, — уже распаляясь, доказывал вертолетчику геолог. — Штольня простаивает. Буры высадить некому... Кузнец мне — во как нужен...

И для большей убедительности энергично черкнул ладонью поперек горла.

— Все равно не могу, — уже нетвердо отмахивался вертолетчик.

— Да ты пойми, не от радости согласился я воздухом везти этого кержака со свиньей и пчелами. Что у меня, других забот нет, что ли? У меня тут, — постучал он по шее, — двести тонн ртути висит. Ее же давать надо! А как дашь, если штольня стоит. По рукам, командир? Во имя дела прошу.

— В салон загляните, — подначивал командира бортмеханик. — Там все жужжит, визжит и хрюкает. А дух такой — полгода в обморок падать будем...

Командир глянул на чистенького, отглаженного бортмеханика и молча двинулся к вертолету.

2

Машина, сделав прощальный круг над заброшенным поселком лесников, взяла курс на базу геологов. Внизу узкой лентой серебрилась река. Лесные поляны сменялись густыми перелесками смешанных лесов, а заливные дуга — гаревыми топиями с непроходимым кочкарником и круглыми, как блюдца, окнами черной болотной воды.

Впереди, до самого горизонта, виднелись отроги нечетких, размытых гор и бешеная кипень зелени.

В салоне вертолета было тесно и душно. В длинном высоком ящике, задвинутом в самый хвост, возилась, хрюкала большая свинья. Ее крупный синеватый пятак, появляясь в щелях ящика, недружелюбно целился в людей черными влажными отверстиями ноздрей, словно это были не ноздри, а стволы старинной фузеи.

От входной двери и до лестницы, ведущей в кабину экипажа, стояли один на одном в три ряда ульи. Крышки с них были сняты. Часть их лежала тут же в проходе, а другая — за ящиком, в котором была заключена свинья.

Салон был забит и заложен какими-то деревяшками, и только маленькая площадка у самых входных дверей была свободна от груза.

Люди сидели на крышках от ульев, свесив ноги на свободную от груза площадку. Их было трое. Хозяин пчел, слегка заикаясь, озабоченно прокричал в ухо начальнику:

— Душно здесь. Как бы м-мушка не заволновалась. — А потом кивнул в сторону пчел и уже весело продолжал: — Ч-чисто плотная, стерва. Сама с горошину, а понятие имеет. Н-не токмо чтобы грязь — з-запах дурной не переносит. Е-ей простор, волю подавай. Н-на смерть пойдет за с-свободу...

И как бы в ответ на это по салону туда и сюда начали сновать одинокие пчелы.

— З-з-з... Ж-ж-ж... — слышалось сквозь гул мотора.

— Чего это они? — спросил у хозяина пчел Иван Петрович.

— З-закужжишь нежрамши. С-со вчерашнего в-вечера взаперти сидят.

Кузнец встал, осторожно по крышкам ульев добрался к пчелам, приложил ухо к одной, другой семье, покачал головой. Вернувшись на прежнее место, пожаловался:

— В-воздуху бы сюда. Ш-шумят м-мушки-то...

Из кабины выглянул бортмеханик. Иван Петрович поманил рукой, приглашая к себе.

— Душно тут. Проветрить надо. А то пчелы недовольны.

— Сейчас сделаем, — сказал бортмеханик и исчез.

В салоне почувствовалось легкое колебание устоявшегося воздуха, и на людей постепенно наплывала прохлада и свежесть.

— Вот т-так бы сразу, — крикнул мужик. — Да не маши ты руками, — набросился он на своего соседа, отмахивающегося от пчел, мирно летающих по салону самолета. — Чего ты их п-попусту дразнишь? Р-растравить хочешь? Тут кустов нету. Н-не спрячешься. Т-туда, — показал за борт, — прыгать придется.

Но мужик не унимался, продолжал отмахиваться и, если удавалось, давил их, потихоньку спроваживал убитых и покаленных насекомых в ящик, где сидела свинья.

3

А та мирно хрюкала в загородке и никак не реагировала на то, что сыпалось и падало на нее сверху. По ее поведению можно было предположить, что никто, ничто и никогда не выведет ее из равновесия.

По телу свиньи уже ползало несколько полуживых пчел. Одна из них, волоча покаленное крылышко, тонко и нервно звенела, пробираясь к раковине свиного уха.

— З-з-з... — тревожила она острый слух затворницы.

Хрюшка затрясла головой, стараясь избавиться от раздражающего ее звука. Потом с силой начала чесать голову о стенку загородки. И тут, словно в отместку задуманному, пчела вонзила жало в мягкие, податливые ткани обидчицы. За первым ударом последовал второй, затем — третий.

Свинья испуганно и дико закричала. Обезумев от боли, она рванулась и, к великому изумлению людей, не разнесла, а как бы распахнула свою тюрьму и всей своей тушей ударилась о борт вертолета.

— Держи-и!.. — успел выкрикнуть хозяин и повалился на свинью.

Удар в борт был таким сильным, а визг таким душераздирающим, что из кабины одновременно выглянули командир и бортмеханик.

— Н-н-авались... — хрипел покрасневший от натуги кузнец. — Н-ноги ей.. Н-но-ги придержи-и!..

Мужики висели на свинье и не давали ей ходу. Сопя и надрываясь, они цепко держали ее за уши, прижав к рифленому полу. Но удержать стокилограммовое животное, заряженное паникой и страхом, не так-то просто.

— Дуйте на помощь!— приказал командир своим помощникам.— Я тут один справлюсь...

— И-и-и...— бесконечно, на одной ноте кричала свинья. Крик ее то нарастал, то обрывался, переходя с громкой тональности на жалкий скулеж. Из оскаленной зубастой пасти вырывались хриплые всхлипывания на смерть перепуганного животного.

— П-потерпи, милая,— уговаривал свинью хозяин, почесывая узловатыми пальцами ее синюшное брюхо.— С-с-ама виновата. Ну чего ты в к-кураж играйси? Л-лежала б себе... А потом к бортмеханику:— В-выручай, сынок, веревка нужна. А то с-сиганет т-туда,— кивнул он головой вниз.— И нас с собой еще прихватит...

— Вяжи этим,— подал бортмеханик моток тонкого цветного кабеля.— Надежный. Не порвет.

4

Кузнец суетился около чушки, поправляя на ее ногах путы, а затем бережно подsunул ей под голову какой-то сверток. Пошупав рукой свиной пятак, виновато заметил:

— Г-горит вся... В-водицы б ей...

— А ты к командиру,— с издевкой посоветовал сосед.— Так, мол, и так, гражданин хороший, нам на травку край надобно. У хрюни от волнений мигрень образовалась...

— Иди ты...— беззлочно ругнулся кузнец.— Чем трекать попусту, подежурил бы вместо меня. К-канистру гляну. В-водица там была...

5

Ровно и сильно гудел мотор, но даже в этом грохоте отчетливо было слышно, как звонко рубили лопасти винта упругий струящийся воздух. По салону туда и сюда мета-

лись пчелы. Иван Петрович не обращал на них внимания. Он глядел на устало хрюкающую свинью, на проплывающие за иллюминаторами пейзажи и думал, что все идет хорошо и что скоро они будут дома.

Но вот у лица геолога остановилась пчела. Она медленно, словно обнюхивая человека, облетела его лицо, затем вокруг головы и уже потом направилась к парню, подменившему кузнеца. Тот, изловчившись, сбил ее на пол и тут же забыл о ней. Но пчела напомнила о себе.

— З-з-з...— исходила она злобой, приближаясь к свинье.

Свинья вздрогнула, по ее телу прошли короткие судороги. Взревев, она рванулась вперед, непонятным образом подбросила свое громадное тело и с силой ударилась головой о пчелиные ульи.

От удара верхний улей подпрыгнул на месте и грохнулся вниз. И сразу же из него густой упругой струей вырвались пчелы...

Кузнец схватил упавший улей, перекрыл леток, откуда вылетали пчелы, и поставил улей на прежнее место.

— А-а-а!— заорал прыгающий по крышкам ульев укушенный бортмеханик. Когда за ним захлопнулась дверь кабины, под ногами людей вдруг вздрогнул и качнулся пол. Вертолет в каком-то непонятном выраже начал стремительно снижаться и почти у самой земли, будто опомнившись, круто выровнялся. Однако и после этого машину продолжало бросать то вправо, то влево, как будто в этих немислимых выражах она подвернула себе ногу.

— М-мушки летунов щекотят...— определил кузнец.

А пчелы, не попавшие в кабину, покрусив у двери, за которой спрятался бортмеханик, потеряли к ней интерес и темным облаком покатались по своду вертолета.

— С-спокойно, мужики,— заикаясь проговорил кузнец.— Н-натягивай пиджаки на голову и... падай на хрюшку. Р-рожи б-берегите...

В салоне стоял ад. Пчелы яростно бросались на людей, будто задались целью отомстить им за неволю и насилие над собой.

Их жала, словно стальные иглы, свободно проникали через легкую летнюю ткань брюк, особенно там, где штаны плотно прилегали к телу.

— Ж-ж-ж... З-з-з... — жужжало и звенело кругом.

— И-и-и... — билась и кричала под му-
жиками свинья.

— А-а-х... О-о-х... — кричали и вскрики-
вали от боли мужики, хватаясь руками за го-
ревшие, как от ожогов, ягодицы.

Свинья надрывалась от крика. Она без
особого труда возила на себе четырех здоро-
вых мужиков, ее оскаленное зубастое рыло
то и дело билось и скреблось упругим хря-
щеватым пятакон в тонкую стенку вертолета.
Люди с ужасом ждали, что вот-вот стенка не
выдержит, и тогда в образовавшуюся брешь
животное выпрыгнет прочь, вместе со своими
мучителями.

Толкнув плечом второго пилота, Иван Пет-
рович выкрикнул:

— Слышь, летун, давай на вынужденную.
Иначе гробанемся...

Но вертолетчик, укрывшись кителем, не
шевелился.

— Чего молчишь? Тебе говорю. Делайте
вынужденную...

Чтобы лучше слышать, он высвободил го-
лову от удушливой накидки. Враз посыпа-
лись удары остервеневших пчел. Иван Пет-
рович почувствовал, как затяжелело, нали-
ваясь опухолью, лицо...

6

...Вертолет приземлился на базовом верто-
дроме. Летчики, не выходя из кабины, от-
крыли задний грузовой люк. Туда и устреми-

п. КРАПИВИНО

лись пчелы. В считанные секунды они
покинули салон и растворились в сиянии
погожего дня.

Свинья тоже почувствовала свободу.

— Уф! — издала она устрашающий, воин-
ственный клич и, перепрыгивая через дере-
вянную рухлядь, загрозившую салон, ис-
чезла в зеве грузового люка. — Уф! Уф! —
удаляясь, замирало в таящих зарослях ра-
достное хрюканье.

— Плакали денежки! — закричал парень. —
Ищи ветра в поле...

— Ничего, — утешал себя кузнец. —
Придет. Успокоится и придет. Без человека
ей нельзя...

Когда Иван Петрович выбрался наружу,
около вертолета уже стояли летчики и оба
пассажира. Геолог ничего не видел. Оба его
глаза заплыли. Он разгреб руками опухоль у
глаз, и на него нахлынула яркая голубизна
неба и золотистая ласковость солнца. Подой-
дя к командиру, он непослушным языком
спросил:

— Корко силовиков нас грызли мухи?

— Корок. Моптвую ять, — просипел коман-
дир распухшими губами и погрозил геологу
отекающей рукой.

Геолог хотел еще что-то сказать, но смог
произнести лишь какое-то бессмысленное мы-
чание. Он махнул рукой, развернулся и, при-
храмывая, пошел прочь. Шел он тяжело, ча-
сто останавливался, ощупывая то лицо, то
уши.

— Мужик! — глядя вслед, сказал второй
пилот.

— Муфык! — подтвердил командир. — Фо-
зяин!



Валерий Зубарев

* * *

Однажды солнечным лучом
я день открою, как ключом.
И, осеняя тлен и прах,
у камня крылья отрастут
и гордый страх за взмахом взмах
с песком и глиной отряхнут.
Следя невиданный полет,
суглинок страстно запоет
цветами. Вспыхнут, как роса,
в их зевах нежных голоса.
...Покамест дерево и зверь
достраивают тишину,
я отомкну иную дверь
и как-то странно помяну
те дни, когда сводил я счеты
с врагами жизни и работы.
Когда почти послушный смерч
рука вращала, точно меч.
И даже солнечным лучом
владеть училась, как мечом.
А раньше — много до того —
я знал другое волшебство:
слепой огонь раскрепощал —
и птицу в камень превращал.

* * *

Я — невольник всего. От всего,
где родился и где продолжаюсь,
естество мое и существо
так зависимы — поражаюсь.

Сколько раз непогоды мои
резкой солнечностью сменялись,
если клумбы, деревья, ручьи,
если мокрые камни смеялись.

А когда, уходя в забытье,
тосковали тягуче и смертно, —
сколько раз голубое мое
против воли тускло и меркло.

Ну, а ты, вечереющий сад,
разве я от тебя не завишу?..
Наши мысли ветвятся, шумят,
наши помыслы глубже и выше.

И такая даруется сила,
что, сложив силовые поля,
вспыхнут ярче ночные светила,
и приблизится к небу земля.

ЧЕЛОВЕК ВСЕЛЕНСКИЙ

Лишь видимость воли суля,
под крылья вам воздух струится.
На привязи держит Земля
и вас, стреловидные птицы.

Ах, так ли томился, стрижи,
бескрылый питомец свободы!..
Попробуй теперь удержи
его под крылом небосвода.

Запугиваешь не шутя,
постылая, дорогая...
Но словно из чрева дитя,
болезненно содрогая,
стучит он, стучит и стучит
туда, где красуются птицы...
Как будто и впрямь предстоит
ему еще только родиться.

* * *

И с вами, люди, одинок я,
когда среди толпы стою,
осознавая: чувство локтя
в толпе иное, чем в строю.

До срока ловко отражавший
удары каменных локтей —
толпе угодней пострадавший
не за людей, а от людей.

* * *

Не зря и в мирской суете
твердим о нетленной и вечной
о внутренней красоте...
и внутренне тянемся к внешней.

Ведь можно скрывать без конца
гримасы души, но не след их.
Работают мышцы лица,
снимая наш внутренний слепок.

Отринуть бы опыт времен
и свой!.. Своевольною силой
безжалостно искажен
набросок прелестный и милый.

г. ПРОКОПЬЕВСК

Но так изменялась природа
следами высоких страстей,
что если б не эта свобода,
то не было б лиц у людей.

* * *

Не плачь ты о том —
ерунда,—
что мне без тебя не смеется.
Соленая эта вода,
как пламя, ласкает и жжется.
Не делай из щек солончак.
Прости, я уже не простак.
Не плачь просто так, для порядка...
Но как это все-таки сладко!
Ваяю не ложь из ребра —
тебе помогаю бесплодно
себя обмануть.
Из добра.
Но как это все-таки подло...
Я взглядом тебя провожу,—
кораблик...
качайся на волнах.
Как плуг, тяжело ухожу,
плечами ворочая воздух.

* * *

Движенье судеб и миров...
Сегодня — жив,
а завтра — мертв.
Но ход движенья справедлив:
сегодня — мертв,
а завтра — жив.



Геннадий Емельянов

О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ОБМАНЫВАЮТ СВОЮ РАБОТУ

ОЧЕРК

1

Об Александре Сергеевиче Шинкаренко я услышал впервые, если не ошибаюсь, от заместителя директора Западно-Сибирского металлургического завода Бориса Александровича Кустова:

— Приглядишься, — советовал Кустов. — Но и сразу предупреждаю: не в чести у него ваш брат.

— Кто не в чести?

— Которые пишут.

— За что же такая немилость?

— Вы, бывает, хвалите хохом, а уж бьете, так обязательно наотмашь.

Наверно, бывает и так. Всякое бывает.

Мы встретились с главным, как отмечено в моих дневниковых записях, под осень.

В ту, первую, встречу Александр Сергеевич Шинкаренко говорил с досадой о том, что на подготовку квалифицированного рабочего механической службы — слесаря по ремонту оборудования, к примеру, уходит семь-десять лет, вместе с тем упомянутый слесарь, обслуживающий, допустим, доменный цех, не пользуется льготами так называемых основ-

ных профессий: и пенсию оформляют позже, и в деньгах крепко проигрывает. Понятно отсюда, почему в ремонтники особо не рвутся. Вместе с тем (и мировая практика — тому доказательство) имеется тенденция такого рода: медленно и неотступно сокращается на ведущих переделах металлургии количество людей, занятых непосредственно выдачей продукции, и увеличивается число obsługi. При более внимательном рассмотрении никакого противоречия здесь нет: усложняется техника, механизуются и автоматизируются трудоемкие процессы, растет соответственно парк оборудования и растет штат, его обслуживающий.

Мое сравнение, как и всякое другое, хромает, но я к нему, тем не менее, прибегну — для пущей наглядности: производство металла, и не только металла, напоминает айсберг, большая часть которого скрыта под водой. Нам доставляет удовольствие смотреть, как из леток течет чугун, как в операторских будках прокатных цехов, напоминающих кабинеты авиапилотов, товарищи со строгими лицами нажимают кнопки, и по рольгангам со впечатляющей скоростью, окрашенные в цвет закатного солнца, бегут уголок, квадрат, арматура, как ладно и с нежным даже пере-

звоном ложится горячая стальная лапша на отведенное ей место — для отгрузки потребителю. Все это великолепие современной металлургии многократно живописано в популярной литературе и лирических газетных репортажах. Однако спустимся на грешную землю и зададимся простым в сущности вопросом: а кто же отвечает здесь за все, что крутится-вертится под кожухами, в бездонных бетонных колодцах и под самой крышей, на голубиной высоте? Ведь вечных машин не сработано, и зубья самой прочной шестеренки съедаются мощные нагрузки. Вместе с тем металлургический процесс — бесконечен, он, подобно реке, течет без устали днем и ночью. Вечно.

Служба главного механика — ремонтники — отвечает за все, что крутится-вертится, за все, что попадает под графу «технологическое оборудование».

Служба главного механика, кроме того, причастна так или иначе, прямо или косвенно, к тому, что внедряется в производство, будь то некая рационализация или изобретение принципиального свойства.

Кому выпадает в чрезвычайных обстоятельствах самая опасная и ответственная нагрузка? Ремонтнику.

Так что призываю тебя, дорогой мой читатель, относиться с почтением к незаметному на заводе человеку, что ходит по цехам в замасленной спецовке и, как правило, тащит на плече внушительных размеров деталь или столь же внушительных размеров ключ, предназначенный, конечно же, не для ремонта дамских часов.

— Ты слышал когда-нибудь, — спросил у меня Шинкаренко, — чтобы ремонтнику присвоили, например, звание Героя Труда?

— Не слышал. Однако надеюсь услышать.

— Я вот тоже надеюсь!

Что ж, будем теперь вместе надеяться.

2

Как выглядит служба главного механика на Запсибе сегодня, каков ее вес и значение? Это, если брать скопом, завод со штатом около пяти тысяч рабочих и инженеров. Сто

пятьдесят тысяч тонн продукции в год. Детали производятся весом от ста граммов и до ста тонн. Не может служба сделать лишь турбины, автомобили и самолеты. Все остальное — пожалуйста, и в лучшем виде. Под высокой рукой главного тринадцать современных цехов. Я мог бы засыпать вас цифрами, но лучше приглашу посидеть тихонько возле заместителя главного, возле Михаила Давыдовича Заславского, который ведает, кроме прочего, и внешними связями. Итак, смотрим и слушаем.

...В кабинет, будто на борт самолета, протискивается мужичок в фуфайке. Я заранее жалею мужичка, думаю: «Этому откажет — слишком уж несановитый!».

Заместитель тем временем рассматривает бумаги, положенные на его стол, и пробует нагнуть на круглое свое лицо чиновную важность. Сейчас Михаил Давыдович выдаст монолог в том духе, что всем он обязан дать, сделать, угодить, а почему, спрашивается, дорогие-хорошие? Почему механики Запсиба должны болеть в масштабах России-матушки, никак не меньше? Заславский еще пожалеет многострадальных механиков не менее многострадального Запсиба. Сокрушительно пожалеет, а вот визу? Поставит визу на чертеже или нет?

Мужичок томится, глядя в потолок.

Заславский пишет: «К исполнению» и, по добров, добавляет — «Срочно!»

Проситель, не отвечающий классическим стандартам толкателя, выбивателя и доставалы (обычно это народ молодой, длинноволосый и в туфлях на высоких каблуках даже зимой; на крайность — средних лет товарищ с обветренным лицом капитана дальнего плавания, только что доставившего в порт апельсины из Марокко), забирает бумаги с осторожностью, будто блин со сковородки, явно не уверовав еще в благополучное завершение своей миссии. Говорит тихо:

— Раньше легче было.

— Почему это тебе легче было? — осведомляется Заславский, слегка утомленный монологом насчет вконец замысленных записиовских механиков.

— Начальство гаражи строило. Теперь у всех гаражи есть.

— Я же у тебя кирпич не просил, кажется?

— Если бы вы просили, Михаил Давыдович, с полным бы удовольствием. И сколько надо.

— У меня плохой гараж, даже смотровой ямы нет, собираюсь все переделать, да руки не доходят.

Проситель, упрятав документы под фуфайку, пускается в пространные рассуждения о том, какие в данный момент грохают гаражи — ай да ну гаражи, будьте спокойны: в два этажа даже. Погреб там, само собой. И еще всякое такое.

— Просят! — Заславский вздыхает брови, когда мужичок, исчерпав тему, почтительно удаляется, скользя валенками. — Этот (кивок на дверь) с кирпичного завода. Облисполком директивное письмо прислал: помогите местной промышленности. Надо? К нам все идут, мы только ни к кому не ходим.

...Двое пожаловали. Оба смущены чем-то. Один, как я понял, приезжий (наружность скромная, пожилой, в клетчатом пиджаке — опять не классный толкач), второй — помоложе, плотный. Тот, что помоложе, трет подбородок пальцами и крутит головой с выражением обиды:

— Они напороли, а мне попало!

На пороге возникает Александр Сергеевич Шинкаренко в своем выдавшем виды полубубке:

— Прими, разберись! — и исчезает.

Заславский надевает очки.

— Правильно тебе попало.

— Они же напороли, Михаил Давыдович!

— Мы напутали! — приезжий несет руку к сердцу. — Что есть, то есть.

— Они посторонние, их ругать неловко, они — с Нижнего Тагила и всегда путают. Там были дельные ребята. Где наш Николаев?

— В Болгарии. На болгарке женился.

— Вот видишь, в Болгарии Николаев, забрали его у вас. Наши, кузнечские, маху не дают. Молодая болгарка-то? Конечно, молодая. Мы создали базу на вырост, так нам же и покоя нет — все к нам едут да идут, а мы —

ни к кому. Сразу не сделаешь, так потом ни шиша не дадут.

— Не дадут! — вежливо и со вздохом отвечает тагильский гонец. — Туго у нас со вспомогательными службами, чего греха таить.

— То-то и оно!

С тагильцами тоже обрешилось быстро и к взаимному, что называется, удовольствию. Пошумел, правда, заместитель, так он всегда шумит, если разобраться. Заместителю доставляет удовольствие подчеркнуть лишний раз, что вспомогательная служба на Запсибе не лыком шита и обрабатывает не только свой завод с лихвой, но и по горло загружена сторонними заказами. Всякому ведь приятно, сидя в седле, понукать пешего. Лишь однажды при мне Михаил Давыдович осерчал нешуточно, когда в кабинет заскочил молодой товарищ с фатоватыми усиками и румяный. Этот приехал, кажется, из Калуги и явился перед нами с таким видом, будто много лет сидит за стенкой и со всеми на «ты». Парень осведомился ровным голосом, сможет ли он, желательно сегодня, прикупить списанные станки? Заславский даже привстал:

— Он станки просит, надо же! Вы на него посмотрите внимательно — он станки просит! Может, тебе дому отдать, первую, например? Или третью? Кто пихнул тебя сюда, какой недотепа? У нас все новое, понял!

Молодой человек, не дрогнув лицом, встал и удалился. Вроде бы прикурил мимоходом, не имея спичек в своей Калуге. Спина его выражала достоинство. Заславский посоветовал спине:

— На машзаводе спроси — там есть старье, только ведь ты не первый, учти.

Я опускаю здесь колоритную речь о том, как выбивалось и выбивается оборудование, какой изворотливости и дипломатического таланта стоил каждый станок: в самых высших сферах крутиться надо. Очень крутиться!

— Мы по станкам, если не ошибаюсь, первое место в мире держим, — вставил я исключительно ради вежливости. — И не хватает?

Тогда Заславский обрушился на меня:

— А чего у нас хватает, скажи?

Крыть было нечем.

На столе у меня без малого год уже лежит серая папка, которую подарил знакомый журналист:

— Может, ты напишешь? Я не успел.

В папке — справки о бывшем главном механике Леониде Яковлевиче Матусевиче, ныне покойном: характеристики, выполненные в канцелярском стиле, перечень изобретений, личные и в соавторстве, список наград. Я открываю папку, думаю привычно о том, что вот когда жив был человек, недюжинный, кстати, у нас все руки не доходили, времени нам не хватало рассказать о нем, теперь же во стократ сложнее воскресить в красках хоть и недалекое еще, но уже прошлое, оно ускользает, как текущая вода, как марево над теплой пашней.

С Леонидом Яковлевичем Матусевичем связаны почти все крупные начинания механиков, да и сама служба, ее нынешний масштаб — в немалой степени заслуга этого человека. Он, смертельно уже больной, приказал Александру Шинкаренко:

— Примешь у меня дела.

— Нет.

— Очень тебя прошу, Александр! Никого так не просил.

Шинкаренко не вдавался в детали, вспоминая тот мужской разговор, тягостный для обоих, он принял дела, понявши, что Матусевичу вовсе не безразлично, кому их сдавать: главный помирать хотел с чистой совестью.

3

Я приходил в контору главного механика чаще утром и садился за стол в кабинете, тесно заставленном нестандартной мебелью. Александр Иванович Нефедов клал передо мной альбом с чертежами, и мы пускались в путешествие по многоликой стране механиков.

Не стану придерживаться хронологии, буду излагать события не по порядку, а скорее по степени их важности.

Итак, год 1968.

На Запсибе уже дымили две домны, в строю был коксохим, давали прокат станы. Александр Шинкаренко уже не занимался эписто-

лярной литературой, он крутился, как белка в колесе, на производстве.

Две домны работали, третья, самая крупная тогда в Европе, монтировалась. На строительной площадке порой скапливалось до тридцати тысяч человек. В такие моменты стороннему кажется, что никто и никогда не разберется в хаосе конструкций, труб, кабелей, кирпича и машин всякого назначения, согнанных на пятачок. Но разбираются в итоге.

Когда кожух третьей домны уже полез в небо, с Уралмаша пришла обескураживающая весть: Уралмаш отказался лить засыпное устройство для третьей печи. Вернее, отлить-то он его в принципе мог, но уральцы озадачили, пожалуй, всех: а как его везти, этот царь-колокол? На чем везти? Реки нас не соединяют, моря между нами нет, на железной дороге машина пошибает все виадуки: ведь диаметр большого конуса — 6,5 метра, высота — больше 3, вес его — 45 тонн. Конус в домне имеет чашу, на которую садится, диаметр чаши — 7 метров.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Представьте, сколько считали конструкторы, сколько думали инженеры буквально над каждым винтиком, а слона-то и не приметили. Действительно, кого заботило с самого начала, как везти великую Федору с Урала в Сибирь? А ответ ужасно прост, поется в одной песне, и ответ единственный: никак.

Прошу сразу обратить внимание на одну немаловажную деталь: записовцы не стали дожидаться, когда выход из тупика найдут те, кому положено его искать по чину и по штату — проектировщики и министерство черной металлургии. Можно было бы рассудить просто: не мы затевали, не нам и землю носом рыть. Но даже в мыслях такого не проскальзывало — сибиряки вызывали огонь на себя, и в кабинете покойного директора Леонида Сергеевича Климасенко по утрам, вечерам, а то и глубокими ночами не выветривался табачный дым — ведущие заводские специалисты, и в первую очередь механики, думали великую думу, люди Матусевича «рисовали варианты». Для подстраховки сразу же обратились в Гипромез к проектиров-

щикам, спустя некоторое время получили рекомендацию: отливать конус надо на месте, в одном из пролетов конверторного цеха, еще не пущенного. Другого пути нет.

Тогдашний начальник конверторного цеха Семен Аронович Донской посидел, извещенный рекомендацией института, полчаса у себя за столом с логарифмической линейкой и потянулся к телефону. Он доложил директору:

— Ваша железяка обойдется нам в сто тысяч тонн стали.

— Не ваше, а наше засыпное устройство, — поправил директор.

— Наше, Леонид Сергеевич, засыпное устройство обойдется в сто тысяч тонн стали. Мы не дадим эту сталь, потому что нам негде будет работать. Долг с нас никто не снимет, Леонид Сергеевич!

Светлые головы отдела главного механика, подгоняемые зычными призывами Матусевича, все «рисовали». Здравый смысл подсказывал единственно приемлемое решение: большой конус отливать частями, потом сварить в целое и обрабатывать на месте. Опять запросили Гипромез. Теоретики ответили на манер одного чеховского героя: этого не может быть, потому что не может быть вообще. Уралмаш — а ему опыта не занимать! — предупредил официально: не вздумайте, товарищи, ведь никто такого не делал и не собирается делать — ваш конус, сваренный из кусков, развалится под нагрузками.

— Мы пуганые! — сказал тогда в гневе Матусевич и дал указание Александру Ивановичу Нефедову, заведовавшему тогда конструкторским бюро: — Советов спрашивать больше не у кого, готовь чертежи.

В августе 1969 года родился проект. В окончательном варианте получилось так: макет конуса будет весить 14 тонн, средняя его часть — 12,3 тонны и «юбка» — 14 тонн. Отливать куски надлежало литейщикам, обрабатывать и доводить до кондиции весь этот стальной холм поручалось механическому цеху. В принципе решение состоялось, заботила еще масса мелочей, требующих тщательной инженерной проработки, потому-то запсибовская делегация направилась по заводам страны смотреть и мотать на ус, как выходят из

положения те, кто по разным причинам не пользуется услугами машиностроителей.

Осенью, как вспоминают, вернулся из отпуска директор и чуть ли не сразу потребовал к себе механиков с окончательными соображениями относительно засыпного устройства третьей домны, а о ней уже во всю трубили газеты, пользуясь эпитетами самого высокого порядка. Что ж, газетный шум был оправдан: на Запсибе создавался уникальный агрегат — уникальный по мощности и по многим техническим частностям. Однако мажорный тон мог оборваться трагической нотой, если...

Директор внимательно посмотрел выкладки механиков, и они ему понравились. Последовал долгожданный и сакраментальный вопрос:

— А кто возьмет на себя ответственность? Я лично проект не подпишу.

Не торопились осуждать директора: власть его простирается не так уж и далеко, потом ведь Климасенко, администратор не робкого десятка, имел все-таки не семь пядей во лбу: инженерная его эрудиция где-то кончалась, как кончалась и власть. Завизировать же проект надлежало человеку с непререкаемым авторитетом, полномочному, и с плечами пошире директорских. Дать «добро» мог, пожалуй, лишь первый заместитель министра черной металлургии Александр Филиппович Борисов, сам блестящий доменщик, начинавший, кстати, карьеру на КМК.

— Бери-ка под локоток чертежи, — напутствовали Михаила Давыдовича Заславского. — И кати в Москву, речь там скажешь, со слезами смешанную. Ты у нас речистый — и злую тещу, когда прижмет, разжалобишь. Ни пуха тебе, ни пера.

Шутили, конечно, но было не до шуток: на кон ставилась ни много ни мало репутация завода, проверялась компетенция его ведущих специалистов, да и сама по себе проблема выросла уже до уровня государственной.

Я пробовал выпытать в подробностях, как витийствовал наш ходок в министерских сферах, но так и не выпытал.

— Не помню, честное слово! Стыдновато было, это да: народ в приемной всякий сидел,

а я простачком прикидывался: что с нас, дескать, взять — мы из глухомани.

Михаил Давыдович действовал по старинке, и можно представить, как для зачина он растолковал популярно присутствующим, что же такое Сибирь. В Сибири воровбы, убитые морозом, падают камнями на головы, и медведи шастают по улицам, точно пьяные мужики. Неделю назад, к примеру, группа неорганизованных медведей укатила из трамвайного депо колесную пару. Между тем, как пророчествовал Михаила Ломоносов, могущество России Сибирью прирастать будет. Ну, и так далее. В тридцатые годы, да и позже немного, такие байки сотресли секретарш приемных, на сегодняшний день они уже не впечатляют. Однако, когда Михаил Давыдович таким манером дотолковался до финиша и начал утирать платочком трудовой пот со лба, референт Борисова, видный мужчина в расцвете сил, обладающий к тому же, как выяснилось, здоровым чувством юмора, воздел руки и закричал «ура!», не стесняясь почтенной публики. Наступила очередь Заславского отвалить челюсть: «Я тогда подумал: сейчас прогонит или милицию позовет!»

Референт просмеялся и сказал, указывая на дверь Борисова, тяжелую и важную, как крепостные ворота:

— Туда не пуццу — ораторов не любит. Оставьте документы и завтра поутру ждите здесь.

Наутро проект был утвержден первым заместителем, и только тогда, может быть, записовцы до конца поняли, какую взвалили на себя ношу.

Печатное слово спустя время упомянет об этой операции как вполне рядовой, способствующей, разумеется, общему конечному успеху. И только. Директор Леонид Сергеевич Климасенко выделит две тысячи рублей премиальных, и механики устроят негромкий обед: порадуются на мальчишнике, погорюют, как положено, о том, что годы бегут, и разойдутся. Почет достанется строителям, их вклад оценят в рублях, тоннах, сэкономленных часах, их доблесть обернется орденами. И по справедливости, конечно. Подвигу же механиков как-то не найдется места в парад-

ных рапортах по случаю пуска домны к открытию XXIV съезда партии. Ну, да ладно: «Сочтемся славою, ведь мы свои же люди!»

Я упомянул уже, что заводчане — в их числе Александр Иванович Нефедов, Любовь Михайловна Наумова, Анатолий Иванович Шилиев — поехали по стране. Их интересовали предприятия, изготавливающие по разным причинам засыпные устройства собственными силами и по собственному разумению. В Кривом Роге сталь для «царь-колокола» брали в мартене. В Череповце конус варили из двух кусков и со всем громоздким хозяйством загостились под крышей листостана, а незваный гость, известно, сродни беде. Остальные же заводы пользовались во благо себе запланированными услугами машиностроителей.

Съездили разведчики с пользой, однако, как и ожидалось, не привезли ответов на все вопросы, вернулись они с твердым убеждением, что справиться с задачей можно лишь в том случае, если литейщики найдут способ добыть в нужное время и в заданном количестве жидкий металл.

Я встречался с литейщиками.

Борис Александрович Кустов, заместитель директора завода и бывший начальник цеха, вероятно, по привычке, командовал парадом: он созвал всех, кто был на месте, рассадил людей за стол в большом кабинете и весело приказал:

— Излагайте, мужики!

Излагать, выяснилось, было в общем-то нечего: подзабылось многое, и какой, значит, спрос?

Рядом сидел Владимир Александрович Шамец (мы с ним познакомились накоротке), средних лет человек и степенный по виду, бывший технолог участка стального литья, он постучал пальцем по часам на руке, сказал, клонясь ближе:

— За конус подарок.

Часы модели «Восток» потеряли вид, зашербился циферблат, почернел корпус.

— Память, потому и ношу. Идут — сносно.

Кое-что все-таки вспомнилось.

Почему лили конус именно из трех частей? Вовсе не из желания оригинальничать — ли-

митировал жидкий металл. И даже ведь принятый вариант был связан с нешуточным риском: электропечи (их две в цехе мощностью по пять тонн каждая) предполагалось использовать с невиданным перегрузом: в одну надо было завалить 11,5 тонны шихты, в другую — аж 13,5! Технические нормы некоторые вольности, конечно, допускают, но и предел заказан. Недаром же печь под инвентарным номером два «заплакала» в самый напряженный момент (где тонко, там и рвется!), потому что в кожухе проело дыру, и заплата на ней живой памятью сидит до сих пор.

Заместитель министра дал «добро», но это вовсе не значило, что он дал право и на просчеты — он ведь благословил идею, но ни в коей мере не спасал от кары тех, кто не справился бы со своим прямым делом. Существуют должностные инструкции, в них права и обязанности разложены по полочкам сверху донизу. Так вот. За литейщиков отвечал перво-наперво начальник цеха, потом — главный механик и дальше, согласно все тем же инструкциям.

Зайдем с другой стороны.

Мог ли тот же Борис Александрович Кустов и его специалисты отказаться от операции формально и фактически? Вне всякого сомнения! Убереглись бы литейщики от карающей десницы в случае неудачи? Вряд ли.

— Там, — показали мне на потолок, — дураков нет.

— Почему же вы тогда взялись лить?

— Другого выхода не существовало.

Просто и очевидно. Просто, когда все позади: и сомнения, и риск, и дерзость. И молодость, добавлю.

На миру и смерть красна. А вот класть голову на плаху так неброско не каждый способен.

Для начала литейщики расписали операцию по минутам во «Временной технологической инструкции», провели, кроме того, генеральную репетицию по-суворовски: тяжело в учении, легко в бою, потом уж решились в ночную смену лить — ночью меньше докуки, никто под ногами не вертится и руководство не надсаждает телефоны.

Была ранняя весна. Какая стояла тогда ночь — туманная или ясная, холодная или теплая? Недосуг было заглядывать на небо и на звезды, над ними была прокопченная многими дымами крыша цеха, и весь мир поместился под той крышей, очертив пределы сущего. Каждый делал свое с предельной сосредоточенностью, а летописца, которому надлежало бы занести страницу в скрижали, как-то не подвернулось по случаю. Никто и даты не запомнил. И мы с вами в ту ночь спали.

Борис Александрович Кустов на листке, вырванном из календаря, нарисовал схему:

— Это вот два пролета, это вот печи. В одном пролете стоял я, в другом — Александр Александрович Чумаков. Мы с ним, замечай, дирижеры, наши команды — закон. У крановщика — адъютанты: механик и электрик на чрезвычайный случай, у печи — тоже электрики и механики. Нам нужна была полная синхронность. Лили из двух ковшей сразу, двадцать пять тонн. Пока мы лили, ребята уже заваривали шихту и плавил еще три тонны — на усадку. Главное, заметь себе, синхронность, понял? Как в аптеке, как в часовом механизме, например. Как в оркестре. Времени на все немного ушло — час, может, или чуть больше. Когда закончили капиталь, руками развели: и чего тряслись, за ночь-то мы бы еще три таких колеса сварганили! Ничего особенного.

...Вспомнили еще тогда, в кабинете литейного цеха, что детали конуса имели максимальный допуск 70 миллиметров, легла же пирамида — макушка, середина и «юбка» — с точностью первого класса. Это значит: разница в толщине сомкнутых стенок не превышала 8—10 миллиметров.

Еще вспомнили: электрик Алексей Петрович Плетнев подал мысль разобрать часть цеховой стены и соорудить салазки великанских размеров, чтобы по частям вытолкать бульдозером отлитый конус, иначе бы литейщики уподобились тому нерасторопному гончару из грузинских былей, который, залатав дно кубина, предназначенного для вина, не смог сам из него вызволиться.

Не имею возможности (о чем искренне

божалею!) перечислить всех, кто отличился в ту весеннюю ночь, иначе очерк мой принял бы вид телефонной книги: ведь цех со штатом в сотни человек поднялся по тревоге и посторонним ни один себя не считал — инженеры писали ноты, рабочие играли музыку. Особо же отличилась бригада формовщиков Ивана Семеновича Цапенко, ей и особая честь.

Литейщики напоследок подарили мне временную инструкцию, по которой велась знаменитая операция «Большой конус». В инструкции — двенадцать машинописных страниц с пунктами и подпунктами.

— Разберешься, — наказали литейщики. — Там ничего не упущено.

Итак, литейщики освободили себя от докумки, однако цепь на том не замыкалась: детали конуса предстояло еще сварить (кстати, варили вручную, потому что автоматикой в ту пору Запсиб не располагал), кроме того, никак не исключалась термическая обработка. Срочно зандобилась специальная печь, куда бы стальная гора поместилась целиком, как чугунок на ухвате. Для запроектированного фасонно-сталелитейного цеха такой агрегат предусматривался объемом в 80 квадратных метров и с так называемым выкатным подом. Но дожидаться пуска цеха — значит, не дожидаться в итоге пуска третьей домны. Записовцы будто напрашивались на фельетон в журнале «Крокодил», водрузив с лихорадочной поспешностью посереде чистого поля, где и конь еще не валялся, капитальную трубу. Она торчала, труба, как перст, уставленный в небо самонадеянно и высокомерно, как восклицательный знак на пустой странице. Строители, известно, всякое выдвигали, но вот собирать возле трубы печь без стен и крыши еще наверняка никому не доводилось и не доведется, надо полагать. На странном объекте выполнялись и перевыполнялись сменные задания, и после, когда площадку с черным скелетом из железа покрыли листовой жостью, любопытство улеглось, ирония иссякла. Механики же обеспечили тылы: термопечь, хоть и по временной схеме,

способна была выполнить свое назначение. Еще одна забота долой, еще один шаг туда, где, подобно светлomu пятну в конце тоннеля, маячил выход.

...7 ноября 1970 года в поселке на Антоновской площадке с утра падал снег. В пойме Томи кружила метель, и горы за рекой были в пегом дыму. У нас почти всегда на Седьмое ноября падает снег и уже не стаивает — это наступает сибирская зима, длинная, как век.

Колонны на демонстрацию собирались в переулках. Былолюдно и суетно. В неохватной бурлящей толпе доменщики упорно искали и нашли Матусевича. Главный был, как всегда, в осеннем пальто и с красным бантом на груди, оживленный и зарумяненный ветерком.

— Мы тебе пришли спасибо сказать, Леонид Яковлевич. Здравствуй.

— Нам редко спасибо-то говорят. Здравствуйте.

— Потому и пришли — ведь праздник сегодня.

— Праздник, да...

— Конус ваш простукали и обнюхали. Порядок!

— Ну, и слава богу! Вы не сомневайтесь, ребятки. Нисколько не сомневайтесь. С праздником, доменщики!

— С праздником, механики!

На том и расстались.

Матусевич медленно стянул с головы плоскую свою кепчонку и постоял недвижно. В редяющих его волосах, на ресницах стеклянными блестками таял снег. Самодеятельный оркестр неподалеку начал по команде репетировать марш, замерзшие трубы заревели не в лад. Матусевич вздрогнул и утер ладонью мокрое и холодное лицо.

...Первый конус простоял на домне год вместо семи месяцев, отведенных нормами. Продлить же срок службы всех засыпных устройств черной металлургии страны на месяц — значит выплавить 45 тысяч тонн чугуна и положить в карман государства 2 миллиона рублей чистой прибыли. И еще. На Запсибе отлито уже шесть больших конусов.

Я получил разрешение заходить в кабинет главного без стука и звонков: оба мы поняли — и главный, и я — что иначе ничего путного у нас не получится, что для степенных бесед времени у нас не выпадало и не выпадет: обязательно кто-нибудь помешает. Я успел записать себе на памятку следующее.

После окончания СМИ в Новокузнецке Шинкаренко был направлен в Златоуст на небольшой металлургический завод и занимал там должность старшего мастера прокатного цеха. О студенчестве он вспоминал как о поре бедной, но незабвенной. («Жили коммуной, я кассу вел, сальдо-бульдо сводил на плакате за дверью. Ребята поручили кассу мне, потому как я, во-первых, был постарше остальных, во-вторых, успел поработать учителем математики в школе.») В Златоусте, если вспоминать самое важное, на складе лежала правильная машина импортного производства («красивая вещь!»). Документации к ней — никакой. На ощупь чужую машину наладить и пустить — моськина затея. А взялись! Конечно, и предупреждали нас: не зная броду, не суйся в воду. Советчики рисковать не любят, известное дело. А собрали ведь и пустили. Не скоро и не гладко собирали, но, поди, до сих пор крутится. («Приятно сознать».)

Я записал про то, как и почему молодой тогда инженер Александр Шинкаренко покинул достославный город Златоуст на Урале, где в общем-то прижился. Подвел кавказский темперамент. Серьезнее причины не найду. Такая сложилась ситуация однажды: в цехе краном придавило рабочего. Суд был, конечно, показания давал для прояснения истины и в качестве свидетеля. Вышли когда после суда, начальник цеха возьми да и скажи:

— Я бы такого не допустил.

Начальник только что вернулся из отпуска, и «ЧП» случилось в его отсутствие. Шинкаренко тут не сдержался: тоже мне, дескать, Иисус Христос нашелся, от случайностей никто не застрахован. Ну, еще был добавлен ряд мужских выражений. («И без того на

душе муторно, а он на свежую рану сапогом, баптист!») Многие слышали этот нелицеприятный диалог, и стало сразу яснее ясного, что работать дальше этим двоим вместе уже никак нельзя, что подавать заявление по собственному желанию этикет предписывает младшему по чину и по возрасту, к тому же начальнику по его положению не пристало вещать глупости, а если он их и произносит вслух, то подчиненные учтиво соглашаются или пропускают такие речи мимо ушей.

Однако Александр Шинкаренко Златоуст покинул не сразу (судьба играет человеком!): повстречался на улице как нарочно отдаленно знакомый управляющий строительным трестом, мужик напористый, и ведь уговорил, не сходя с места, наняться к нему главным инженером управления механизации.

— Тринадцать выговоров за год воткнули! — вспоминает Шинкаренко. — Верить-нет? Зато дело наладил отменно. То была лучшая пора моей жизни, теперь-то ясно понимаю.

— А потом?

— Потом стало неинтересно. Не отпускали, но я упрямый. Книжки свои запаковал и — айда до дому. Родители в Киселевске жили, туда и поехал.

...Кабинет главного не пустует: заходят, уходят, сидят. Стол главного — некий центр воронки с шумной круговертью. Шинкаренко, когда круговерть останавливается для передыха, чтобы забурлить с новой силой, находит минутку и на мой пай: иногда начинается у нас разговор, прерванный вчера, позавчера или неделю назад. Или рассуждается нам о самом разном. И все темы — больные. Собеседник мой, давно замечаю, работает на износ, он один из тех, для кого все важно и все близко. Сравниваю мысленно, и уже не в первый раз, главного с тем же Борисом Александровичем Кустовым. Последний — выносливее, что ли... Кустов умеет смеяться, Шинкаренко всегда суров и недоволен, а с нахмуренными бровями жить нелегко: все заботы не обойдешь, двумя руками все дыры не залатаешь, одной головой неотложные думы не передумаешь. Деловому человеку, полагаю, надо иметь запас прочности, иначе с современными перегрузками не сладить. Ну, да

выше себя не прыгнешь, и характер, данный от начала, ломать непросто. Однако и можно же! Чего я искренне желаю Александру Сергеевичу Шинкаренко.

...Главный спросил, подвигая ко мне пачку сигарет:

— Чем занят? Кури, мои с фильтром.

Спросил скорее из вежливости — он не особенно интересуется, чем я на данный момент занят.

— Засыпное устройство с Александром Ивановичем Нефедовым «проходим».

— Прошли?

— Вчерне разве что.

— А клапаны он тебе показывал?

— Нет.

— Значит, не прошли вы засыпное устройство. Сейчас я тебя с хорошим конструктором сведу, он тебя в полной мере просветит — мы с ним, почитай, одиннадцать лет под ручку ходим. Здешний, СМИ тоже кончал. В Ярославле на моторном заводе работал, да вернулся: тайгу любит, а какая в Ярославле тайга. Вообще же, для сведения тебе, конструкторы вымирают, и эту профессию давно пора заносить в Красную книгу. По-знакомить вас?

— Конечно!

— А засыпное устройство в том виде, в каком оно есть сегодня, никого уже не устраивает. И сегодня эта проблема — одна из главных в мировой металлургии.

Засыпное устройство состоит из малого конуса (он наверху) и большого (он — ниже). Малый конус принимает шихту и распределяет ее по периметру. Большой конус несет ту же функцию, но, кроме того, он не дает газам вырываться наружу, он — вроде пробки на сосуде, в котором заперт могучий и недобрый джин.

Гонка за чугуном имеет теперь два маршрута: традиционный — укрупнение агрегатов и новый — повышение давления газов под колошником. Тут-то вскоре и выяснилось, что загрузочный аппарат традиционной системы сбивает шаг, тянет книзу, будто вериги на шее грешника. Аппарат по-прежнему слу-

жит исправно как идеальный распределитель сырья и прочих материалов в шахте печи, но ведь конусы работают асинхронно — верхний открыт, нижний закрыт и наоборот, они ведь выполняют роль камеры, какую придумал еще капитан Немо для того, чтобы таинственный его экипаж выходил прямехонько в глубины океана. В новых режимах большой конус начал сдавать: ведь с ростом внутреннего давления, достигнутого к сегодняшнему дню чуть ли не двух атмосфер, исходящие газы мчатся порой со скоростью звука. Мчатся и несут с собой взвешенные частицы, не уступающие по твердости стали. Плюс адский жар от огня. И нет материала, способного противостоять яростному напору стихий.

Как же быть?

Тупик на магистральной дороге прогресса или лишь заминка?

Никто не решится в наш-то просвещенный век ставить пределы. Но проблема оказалась по всем параметрам сложнее, чем она представлялась поначалу. Ход из тупика нащупывается. Немало смельчаков полагали, что они уже ухватили бога за бороду, да не тут-то было — простейшего засыпного устройства пока нет ни в одной стране мира.

Александр Сергеевич Шинкаренко сказал мне:

— Думают многие. Один огурец зеленый прозрел и навязывает идею вмонтировать в большой конус водоводы на манер змеевика — для охлаждения. Вроде самогонного устройства получается. Смешно, но ведь всякий имеет право вносить свое на широкую публику — из споров рождается истина.

На южных заводах страны раньше, чем где-либо, стали применять клапаны тарельчатого типа, через которые загружалась шихта, с их же помощью и выравнивалось давление. Отпала таким образом нужда в малом конусе, с большого же снималась роль затвора. Авторы революционной идеи — газовщик В. С. Басанцов и инженер Н. Н. Дунаев из Донецка. Впервые о клапанах всерьез заговорили еще в пятидесятые годы, однако пока мы дискутировали, Япония в 1964 году взяла новинку на вооружение. Мы снова пустились догонять. Опять сознательно избегаю

подробностей, опасаясь утомить читателя. Подчеркну лишь, что проект с применением клапанной системы разрабатывали украинские ученые в сотрудничестве с производственными и опробовали ее сперва в Кривом Роге, позже — на Магнитке и первой домне Запсиба. У нас для гарантии засыпное устройство оставили в первозданном виде, добавили только клапаны и нахлобучили на печь «шанку». Это было в 1977 году.

Все ответы на вопросы, связанные с некоторым поиском, должен был дать мне, как упоминалось, конструктор отдела главного механика Игорь Георгиевич Игонин.

Зачин южных наших заводов был уже тем хорош, что разбудил мысль, дал толчок поиску. Клапаны же с первой домны Запсиба, предложенные украинскими коллегами, пришлось снять — они не выдержали экзамена. Основной их недостаток, как объяснил Игонин, состоял в том, что механизм, открывающий и закрывающий крышки, был задуман с применением канатных приводов, а канат — хоть и стальной, не резиновый — от нагрузок рано или поздно вытягивается, в итоге теряется герметичность затвора, в итоге лихорадит доменный процесс, потому как злой джин высовывает из кувшина голову.

Запсибовцы не привыкли полагаться на доброго и умного дядю, потому засучили рукава, сразу и бесповоротно уверовав в перспективность поиска именно в неизведанном направлении.

...Когда я писал этот очерк, во мне росло постепенно тревожное чувство, что никогда не закончить мне главы о засыпном устройстве, никогда не доведется поставить точку и идти дальше по механической службе, вникая в заботы, которые стали и частью моих забот. Начали запсибовцы с клапанов и на том не остановились: в их планы входит, как я понял, создать свой, оригинальный аппарат, выше уровня мировых стандартов. Меньшее их никак не устраивает. Они стронули на вершине ком снега, способный, похоже, разбудить лавину. Если к большому конусу, отлитому своими силами самостоятельно и с долей риска, Александр Сергеевич Шинкаренко имел косвенное отношение, то на качест-

венно новом этапе главный — в центре событий, и я обратился к нему за помощью. Он ответил по телефону:

— Приезжай.

В иной ситуации я бы не спрашивался, тут — надо было: главный бюллетенил и сидел дома.

Шинкаренко встретил меня на автобусной остановке в заводском поселке. Был декабрь, но прошлой ночью по жестяным карнизам стучал натуральный дождь, теперь под ногами была шишковатая наледь. Шли мы с осторожностью и поругивали местных коммунальщиков за то, что они не сыплют на тротуары песок.

Комната, где мы расположились, имела, что называется, деловой вид: кругом — на столе, на стульях, на подоконнике — стопками и вразброс лежали бумаги, книги, переложенные лохматыми уже заставками. Главный работал над конструкцией засыпного устройства.

Я услышал следующее:

— В стране накоплен немалый опыт, внедрено кое-что по частностям, но пока образцовым считается засыпной аппарат люксембургской фирмы «Поль Вюрт». Этот аппарат покупают, он популярен, хотя клапаны родились у нас и многое другое родилось у нас. Мы отстаем по причине своей неразворотливости. Ну, так вот. Сперва у себя намечали ограничиться малым. Хотя бы клапанами — они показали себя неплохо. Но то — уже пройденный этап.

Да, клапаны запсибовской системы, сконструированные группой механиков, где главную роль играл, как уже упоминалось, Игорь Григорьевич Игонин, показали себя в эксплуатации неплохо, но есть теперь кое-что и поновее, интереснее и не только в чертежах, но и на испытательных стендах. Уже тогда, когда Игонин водил меня в цех по ремонту оборудования смотреть клапаны в натуре — лучше ведь раз увидеть, чем сто раз услышать, — уже тогда пробовались в условиях, близких к производственным, и механизмы других конструкций.

Игонинский клапан деловито и бесшумно открывал и закрывал свою железную пасть.

Шевелил он своей челюстью с таким видом, будто жевал воздух. Вообще же это несколько жутковатое зрелище, когда машина работает сама по себе, не включенная в технологическую цепь. Слышно было, как скучно звенит металл. Железо, оказывается, тоже одушевленно: чудища на стендах, пригрезилось мне, мияи воздух с выражением пренебрежительным: заставили, дескать, баклуши бить, вот и бьем, мы — люди маленькие.

Конструктора Игоря Георгиевича Игонина не пугали и не удивляли живые машины в цеховом пролете, они ведь сперва рождаются на бумаге, потом уходят, они похожи на детей — любимых или нелюбимых, — которым уготована своя судьба. Машины — как книги или музыка — волнуют, когда пишутся или сочиняются, потом автор машет им вслед с усталостью и легкой печалью перед тем, как начать все сначала. Такова доля творца.

Но вернемся в квартиру главного.

Александр Сергеевич болезнь считает в некотором роде досугом, потому что встает рано и сразу берется за дела.

— Года за два, — думал вслух главный, — «Поль Вюрта» надо было превзойти, для того все есть у нас — идеи, база. Желание есть. «Поль Вюрт» — не самоцель. Так, к слову пришлось. Вариант вырисовывается очень интересный, оригинальная система, без конусов — без малого и большого. Крепкий круг авторов сколотился, науку привлекли. Все взвешено и успех (есть надежда) гарантирован.

Мы смотрели чертежи, графики, выполненные с тщанием и изяществом. Я понял: Шинкаренко от цели не отступит.

— Потом, — сказал главный, — можно что-нибудь и поспокойней искать.

А я думал: «Нет для тебя спокойных занятий». Не удивлюсь нисколько, если Александр Сергеевич займется чем-нибудь и посложнее. Задач таких в металлургии немало.

Теперь разрешите в конце этой главы поставить жирную точку — ведь все аспекты проблемы я объять не в состоянии. Да и негоже летописцу растекаться мыслью по древу, тем более очерк продолжается.

В уютном кабинете Александра Ивановича Нефедова, начальника лаборатории ЦМТЛ, темновато и пахнет застарелыми бумагами. Заниматься нам тут не шибко удобно, но места поудобней нет. Когда-нибудь инженеры отдела будут сидеть попросторнее, есть такой шанс: новое здание аж в семь этажей за механическим цехом растет помалу. Когда-нибудь и вырастет.

Александр Иванович Нефедов отдает мне свое время с вежливой безропотностью. Остальные от меня скоренько отделились. Михаил Давыдович Заславский рассказал несколько баек, затратив на них в общей сложности не больше часа, и потом, вздымая рыжие брови, осведомлялся, будто у незнакомого:

— Вы ко мне?

— Нет, — отвечал я со смущением. — Мимо вот шел. Раздеться у вас можно, пальто повесить?

Советовали наперегонки:

— К Нефедову ступай, тот в курсе.

Александр Иванович водил меня по цехам, добросовестно старался вспомнить про то, как оно все было. Как-то мимоходом услышал я, будто один дерзкий товарищ изобрел тихой сапой картофелеуборочный комбайн, ну и телевизионники прикатили по этому поводу, расставились со своими треногами чудо снимать, а тут Шинкаренко вынесло как назло. Что, мол, за шум, а драки нет? Да вот, отвечают, снимать приехали. А Шинкаренко им: дескать, как приехали, так и уедете. И прогнал операторов бесславно, комбайн же велел в цех закатить — с глаз долой: нечего хватать, когда ни одной картошки не выкопал.

Такие пироги.

Я, конечно, за историю эту ухватился: люблю чудачков. Да вот, думал, опять придется мне изобретателя разыскивать, народ обспрашивать. Мне по репортерской линии не везет, как не везет на рыбалке: приезжаю в тайгу, когда, по утверждению аборигенов, яростный клев неделю назад аккуратно закончился или когда еще не начинался. Уеду — пишут: зря с места сорвался, малость бы по-

дождал, буквально дня три, и наудился бы до обморока. События всякие тоже без меня происходят, тоже все опаздывают. «Ну вот, — досадовал я про себя. — И тут неудача: машину поди в металлолом сдали, Эдисон, оскорбленный в лучших чувствах, уволился или восвося покинул город». Спрашиваю с осторожностью у Александра Ивановича Нефедова:

— Это — правда?

— Что?

— Ну что товарищей с телевиденья?

— Не видел, врать не стану.

Не видел, конечно!

Одно время я работал в сельской газете и в пору, когда приступала так называемая массовая уборка, душа моя болела — я видел, сколько бесценного добра остается в земле, сколько натуги прикладывает и город, и деревня, сколько безалаберности и непонятого жестокосердия проявляют люди, для которых урожай, собственно, и предназначен. Я досадовал уже тогда: «Неужели нет ясной головы, способной придумать технику — изящную, надежную, простую, на которой бы работалось ладненько и споро?». Комбайны всегда стояли на полях — громоздкие и равнодушные, словно громадных размеров перевешивающие жуки, у них всегда что-то там лопаются, в ненастную погоду они шабашили по законному и безусловному праву.

Опять подступаю вроде бы на цыпочках:

— А это, где теперь тот конструктор?

— Какой?

— Который за картошку болеет?

— Позвать? — Нефедов посмотрел на меня с неодобрением. Во взгляде его читалось явно: — Я-то считал тебя серьезным человеком!

Бывают же на свете чудеса: спустя буквально минут пятнадцать мы стояли, одинаково сложив руки за спиной, в закутке механического цеха и обсматривали игрушечных размеров машину, окрашенную веселой синей краской — комбайн.

Все просто: впереди колесо, сзади — два; впереди — рабочий агрегат, цепляется это чудо за трактор и пошло-поехало. Обслуги, кроме тракториста, никакой. Расчетная производительность — два гектара за смену. Высвобождается 80 человек. Меня не занимал во-

прос, почему Никифор Викторович Панченко, конструктор, высокий мужчина с длинным лицом кабинетной бледности, взялся лечить застаревшую нашу болезнь, никого не спрашивая: у него тоже было военное детство, он тоже лазил веснами по пустым полям — собирал ржавые колоски, тоже плакал во сне голодными зимними ночами. Еще одна существенная деталь: Никифор Викторович десять лет подряд назначался старшим группы на уборочные сельские кампании и не работа его пугает — равнодушие.

— Я им говорю: вы аккуратней, товарищи дорогие! Не затапывайте добро, товарищи дорогие! Картошка нас в лихолетье от врага оборонила. Не понимают, смеются. Тогда я рассердился, сел дома, издал макет и начал чертить. Вот кое-что и получилось.

— Он в любую погоду у вас пойдет?

— Только в любую, иначе зачем огород городить.

Дай-то бог! Серьезные инженеры, с которыми я перекинулся словом позже, качают головой: кто его рассудит, но скорее всего, путного ничего у Панченко не получится — даже картофелекопалки в непогоду стопорятся, а уж что посложнее — обязательно встанет.

Скорее всего, Никифор Викторович преувеличивает возможности своего детища, но хочется верить, однако, что начатое будет доведено до логического конца. Позапрошлой осенью еще, в самое предзимье, когда на поля ложились первые снега (раньше не получилось), комбайн вывели для испытаний. Тракторист попался неугребистый, дерганный и засадил с ходу рабочий агрегат в пашню так, что помял раму. Ведра два, что ли, выкопали на убранной делянке (школьники убирали!), можно было как следует развернуться, да авария помешала. В прошлом году пробовали копать и опять, как нарочно, опоздали по разным причинам, в основном же из-за того, что, наверно, самодеятельность эту начальство не поощряет. Начальство понять можно: у металлургического завода все-таки своих серьезных хлопот хватает. Опять бесславно вернулись в цех, опять ведра два накопили... Словом, искать надо дальше: ведь от чертежа

до здорового и жизнеспособного механизма — дистанция огромного размера. Когда писались эти строки, я собрался было встретиться с Никифором Викторовичем, но он был в отпуске и подробностей узнать не удалось. Однако о Панченко мне довелось услышать еще и совсем по другому поводу.

...Александр Иванович Нефедов водил меня по цехам, показывал, где и что сделали механики для облегчения трудоемких процессов. Гид мой нетороплив и основателен. У конверторщиков мы побывали, пошли к прокатчикам. Скажу вам, бродить по заводу, конечно же, любопытно, и любопытство это никогда не иссякнет, но вместе с тем всякий раз рождается во мне чувство неловкости: ротозей на заводе, он всегда лишний, потому я всегда прячусь за спину моего наставника, утешаясь мыслью, что с Нефедовым и меня принимают всерьез. Во время таких вот походов мы о всяком успели потолковать.

Нефедов ворчит, что в цехах — завал запасных деталей:

— Копят, а зачем копить, ведь это — мертвый капитал!

Я слегка попинал внушительных размеров шестеренку на пути:

— Сколько стоит на глазок?

— Рублей триста стоит... Я и говорю — капитал под ногами. Все кричат: давай! Захламили пролеты, никакого порядка нет.

Нефедов ворчал до тех пор, пока мы не пришли на адьюстаж мелкосортного стана «250».

Здесь с разливистым перезвоном гремит металл — уголок, отливающий синеватым блеском, арматура, отдаленно напоминающая веревку, черный квадрат. Здесь перевалка, отсюда начинается путь проката заказчику — соседям и за моря да океаны, в холодные и жаркие страны. Сотни адресов, тысячи маршрутов. Прокат не возят только разве что на самолетах. Одно время, рассказывали, вязали пакеты по сто килограммов с тем расчетом, чтобы груз мог взять верблюд — основной транспорт в глухих районах слаборазвитых стран. Вот тут-то мы опять подступаем вплотную к тугому узлу, который пытаются рас-

путать не одно, пожалуй, десятилетие на любом уважающем себя металлургическом предприятии. Прокат надо взвесить, увязать крепче, чтобы он не рассыпался по дороге, а пакет того же уголка, это вам не венник — он нелегко и немягок, его шпагатом не перетянешь. До сих пор прокат, как ни крути, пакуют вручную и на этой операции только на Запсибе занято более пятидесяти человек. Мало того, что работа тяжелая, она еще и непрестижная. Десятиклассник сюда не пойдет, посули ему хоть золотые горы. Молодому нужна перспектива. Нечестолюбивых же стариков все меньше, старичков, для которых слово «надо» носит принципиальный смысл. «Надо» звучит сегодня по-прежнему категорично, но не имеет уже былой магической силы.

В ГДР вместе с мелкосортным станом было закуплено 32 вязальные машины, но они надежно выглядели лишь в технических характеристиках, в натуре же капризные и не отвечают своему назначению. Пакеты, обработанные этими машинами с помощью точечной сварки, рассыпаются, не выдерживают в пути даже нежного обращения, потому-то еще в 1967 году покойный директор Запсиба Леонид Сергеевич Климасенко дал задание службе главного механика думать и сроки при этом определил, как всегда, весьма жесткие. Вообще же директор и слушать не хотел ссылок на всякие там объективные причины — он без оглядки верил, что его люди могут все. Конструкторы (кто-то подсказал из механиков такое сравнение), подобно пчелам, носили взятки в кабинет Матусевича, последний же делил идеи на здравые или никудышные, поощрительно хлопал по плечу или же отсылал, насупясь, шевелить извилинами поприлежней, ворчал вслед, что перевелись нынче, кажется, удалцы, народ попадает маломерный, не с кем даже крепко лбами сшибиться...

И вот на суд к главному явился Никифор Викторович Панченко и поставил на стол деревянный макет. Матусевич слышно засопел, когда Панченко, накручивая изогнутую железную ручку, перехватил проволокой вязанку школьных палочек для счета. Главный засо-

пел пуще, когда операция была продемонстрирована еще раз, и взялся за телефон:

— Тут у нас вяжет, представь себе! — звонил он директору, забыв о субординации. — Есть время — забегай!

У директора, известно, никогда нет времени, но он приехал и, не раздеваясь, кивнул: я весь внимание. Панченко тряскими пальцами опять сложил школьные палочки поленицей, опять покрутил кривую ручку. Макет был выполнен на скорую руку, неказисто, но способен был тем не менее продемонстрировать существо замысла. Главному и директору не было смысла ничего разжевывать — они ухватили главное: это перспективно, это по-жалуй, то самое, что висело в воздухе.

— А ведь вяжет, шут ее заberi!

— Вяжет!

Седовласые мужи умели радоваться, как мальчишки, — светло и безыскусно.

— Действуй! — приказал директор.

— Я его заставлю с неба звездочки хватать! — посулился главный. — Он от меня не отвертится.

В 1977 году, если не ошибаюсь, на ВДНХ Кузбасс демонстрировал свои достижения — была нам представлена такая честь — и в павильоне не забавляла публику вязальная машина конструкции Н. В. Панченко со товарищи, выполненная в одну десятую натуральной величины — она упаковывала уже не школьные палочки для счета, а железный круглячок, нарезанный для этой цели. Машину приходили смотреть представители разных заводов страны, в первую же голову интересовала она, конечно же, металлургов. На Записи посыпались просьбы выслать чертежи, поэтому право размножить документацию было передано кемеровской копировальной конторе. Никифор Викторович Панченко получил шесть авторских свидетельств. Казалось бы, полный и безусловный успех. Однако я бы лично по-годил заказывать фанфары, и радужное мое настроение погасло, когда мы с Александром Ивановичем Нефедовым стояли на адьюстаже мелкосортного стана, опершись о трубчатые перила. Черные рога вязальной машины под нами были немо задраны, и все вокруг было пренебрежительно заброшено окурками. Я по-

лучил исчерпывающие объяснения, почему машина в отставке. Во-первых, она выключена из технологического потока, потому что по существу еще экспериментальная. Она капризничала, и Панченко доводил ее до ума с помощью киповцев и прикрепленных слесарей. Рабочие наградили конструктора кличкой «Композитор» за страсть без конца перделывать начатое и впадать в крайности. Во-вторых, для производства надо изготовить шесть таких машин, доведенных до совершенства, и поставить их в поток, тогда производственникам некуда будет деваться — хочешь не хочешь, а вязать начнут. Преимущества же машины налицо: вяжет пакеты она проволокой, крепко, просто и надежно.

В начале 1979 года я сам читал приказ директора А. А. Кугушина за номером один. Это по существу программа на год, где все четко расписано. Так вот в приказе механизации трудоемких операций на прокате и, в частности, внедрению новой техники уделено было должное внимание. Однако я не удивлюсь, если узнаю, что где-нибудь и давно прокат увязывают по записовскому способу. Там, где-то, за рубежом или у нас в стране, давно уже, может статься, забыли, откуда и как пришел к ним упомянутый способ. Целых тринадцать лет минуло с тех пор, как закрутились колеса, а воз и ныне там. И, обратите внимание, не найдешь при всем желании традиционных узколобых бюрократов, развенчанных в романах, нет вроде никаких преград, но вяжут тем не менее вручную! И объективных причин, способных хоть отчасти оправдать промедление, тоже нет, машину делают в цехах главного механика и на сторону не заказано ни одной гайки. Публицисты об эту тему (имею в виду внедрение новой техники) поломали не одно перо, сатирики не остаются без дела, однако шариковыми ручками, как выяснилось (и давно выяснилось), стену с места не столкнешь, нужны другие рычаги, другие стимулы, способные проталкивать изобретение со скоростью курьерской и без остановок на мелких станциях. Тут нужна заинтересованность не только энтузиастов-одиночек, но и производства в целом. Сейчас у нас новатор похож на незадачливого

пешехода у перекрестка в субботний, скажем, день: поднимает он руку: «Подвези, товарищ!». Но транспорта всякого много, а места заняты. Когда парадный шум утихает, задранные бокалы испиты до дна, один автор мыкается по инстанциям, остальные — уже остыли. Автор болеет, государство — все мы, значит, — что-то обязательно теряет.

Что же касается вязальной машины записовских конструкторов, возглавляемых Н. В. Панченко, то ее (не сглазить бы!) скоро должны поставить на технологическую линию.

6

Дальше что у нас?

Дальше у нас — опять прокат.

Горячее опробование мелкосортного стана «250» началось на Запсибе в сентябре 1965 года. Не было еще блюминга, с которого, собственно, все начинается, а вот мелкосортный поставили. Заготовки планировалось возить с западных районов страны* до тех пор, пока не свяжется вся цепь. Начinalи с «хвоста», не имея «головы», потому, что Сибирь и Дальний Восток, их новостройки задыхались без арматуры, почитай, каждое утро копились горки тревожных телеграмм с просьбой срочно отгрузить, выделить, пойти навстречу и так далее. Московские стратеги убивали двух зайцев: переадресовывали просителей поближе к дому и открывали на молодом тогда заводе новое производство со всеми вытекающими отсюда последствиями, они бросали неопытного пловца в большую воду, руководствуясь, вероятно, несложной истиной, что спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Сибиряки, мол, народ хваткий. Хваткий-то хваткий, да дерзости одной мало, когда «узких мест» хоть отбавляй, а тут еще чужие заботы на плечи падают с размаху и с немалой тяжестью. Несладкая выпала доля, в общем.

Пусковая осень 1965 года была, пожалуй, одна из самых тяжелейших за всю историю Запсиба. Начальник одного из прокатных цехов Леонид Павлович Лаптев, когда мы с ним по случаю вспоминали прошлое, вполне серь-

езно утверждал, что нормальный человек может выдержать от силы два пуска:

— Я, например, третий вряд ли выдержу: это уже за пределами моей прочности.

Лаптев рассказывал, что спали на раскладушках и буквально неделями не выходили из цеха. Начальство, правда, и жалело когда — то домой на побывку отпустит, то премию вырешил. Да разве дело в премии. Положение усугублялось тем, что оборудование было немецкое, и разобраться в нем не так-то просто. Потом Лаптев, вздохнув, признался:

— А вообще интересно, ребята!

Другой бывший руководитель цеха, Георгий Фролович Коломников, нисколько не рискуясь, подвел итог:

— Лучшая пора моей жизни!

Он тоже вспоминал о предпусковой горячке, о месяцах «пик» на блюминге.

Попробуем же окунуться в заботы государственной комиссии на мелкосортном стане осенью 1965 года.

Клинило то тут, то там. Клины удавалось вышибать разными способами — где смекалкой, где настырностью, где терпением, но никак не вставала радуга лишь на горизонте зашлемованных спецов института Проект-стальконструкция. Чумазы инженеры с ветостью в карманах бежали по лестницам в бетонированные подземелья, командовали «пуск», потом командовали «отставить», и все начиналось сначала. Дело в том, что механизм выдачи заготовок проката никак не хотел налаживаться. Механизм этот, по мнению многих, задуман и исполнен был сложно, на гидравлике, а она имеет свойство капризничать и весьма деликатна в обращении. На проектировщиков смотрели сперва с надеждой, потом уж и с раздражением. Приехал даже глава института с целью, вероятно, разжечь потухший костер. При нем интеллигентные ребята забегали побыстрей, но и только.

Сроки подпирали, и директор Климасенко сочинил по поводу злосчастных мальчиков от науки целый ряд соленых эпитетов. Директор Климасенко всю свою жизнь пускал агрегаты досрочно. На ГМК, будучи мартеновцем, все пускал досрочно, выполнял и перевыполнял любые задания, граничащие с фантастикой,

особенно в годы Отечественной войны. Он не привык отступать и других учил не отступать, а тут вот кто-то держит. В горячечных спорах родилась даже дикая мысль (некоторые эту мысль с улыбкой отдают директору, но большинство, оберегая святую память покойного, называют ее крестным отцом председателя совнархоза Зильберштейна) поставить у печи дюжих мужиков, и они будут каким-то образом вручную выпихивать малиновый от жара квадрат (вес «штуки» — 600 килограммов!) на линию. Но козлы отпущения нашлись: то были механики.

— Завтра чтоб! — приказал разгневанный директор Матусевичу. — Решение было!

— Помилуй, тут целый институт в мыле, а у меня всего десять конструкторов.

— Ничего не хочу слушать!

— Он не хочет слушать, видите ли! Я тоже не дракон огнедышащий, и по щучьему велению у меня ничего не получается.

Матусевич мог говорить в свое оправдание что угодно, но про себя твердо имел в виду: тут именно по щучьему велению требуется, и никак иначе. Директору он перечил, не выбирая выражений, исключительно ради того, чтобы выиграть хотя бы минуты. Главный — тоже был старой школы человек и тоже не привык убегать в кусты. Тут же на карачках полезли во главе с директором в нагревательную печь на соседнем пролете — посмотреть на месте, как тут можно вывернуться? Вылезли назад в кирпичной пыли, недовольные: слазить-то слазили, но ничего от того существенно не изменилось — светлые идеи ведь на дороге не валяются. О том, чтобы позаимствовать площадку за счет громоздкого агрегата института, не могло быть и речи — никто институт еще со счетов не списывал: вдруг да наладят проектировщики свое хозяйство, пока же требовалось отыскать временное решение, дающее возможность пустить стан и начать выдачу долгожданного проката. Вообще-то было замечено: заготовки из нагревательной печи выталкиваются неплохо, но вот на рольганги они попадают с большой высоты, что, конечно же, недопустимо.

А ведь выкрутились! В общем-то крестьянское это устройство получило после неофици-

альное название «грабли Матусевича», но под техническими документами, кроме главного, стоят подписи Александра Ивановича Нефедова, Владимира Павловича Райтмана и Владимира Михайловича Горбунова. Было предложено через смотровые очки печей вытянуть две гнутые на концах полые трубы, выполняющие роль амортизаторов. Вот и все. Попробовали — пошло за милую душу. Одно неудобство: у печи должен был стоять специальный человек и нажимать кнопку, когда приспела пора выдавать на поток разогретый до кондиции прокат. Позже пульт управления перенесли в будку операторов. Но по первости, вспоминал Александр Иванович Нефедов, всякого понаслушались:

— Представьте себе, начинается официальный пуск. Призывные лозунги кругом, кумачи, понимаешь. Празднично. Мы — при галстуках. В цехе — толпища. Станы в свежей еще краске, все новенькое, все блестит, а тут тебе из печи железо торчит. Даже неопытный глаз замечает: что-то тут не так. Наша самодеятельность в ансамбль не вписывалась. Ну, как на корове седло, например. За сутки ведь состряпали: войди в наше положение. Один репортер пристал почему-то ко мне как банный лист: нельзя ли, мол, эти жерди убрать, ну хотя бы временно — в кадр лезут, гармонию нарушают? Нельзя, ответил: они крепко присобачены. А ты, советую, приловчись как-нибудь, снимем мы их, пока же пусть стоят — без них совсем нельзя. Мы их и на самом деле планировали снять, потому что главный дал задание проектировать свою машину выдачи, на Проектстальконструкцию никакой надежды уже не было. Мы ее создали, машину-то, но простояла она совсем немного, после, при реконструкции стана, головные проектные организации дали принципиально новое решение.

Попутно — деталь.

Говорят, на Запсиб приезжали высокие товарищи смотреть грабли. Товарищи из центра якобы имели цель пресечь техническое хулиганство на корню, но якобы пошли на попятную. Посмеялись, конечно, в кулаки, и с добром убрались восвояси, признав нехитрую находку удачной.

А грабли Матусевича простояли на мелко-сортном стане без малого четыре года.

Наблюдается одна закономерность: как только на пути возникают препоны, мешающие производству или полному освоению проектных мощностей, так в арифметической или даже геометрической прогрессии растёт творческий порыв инженеров, рабочих.

Другая характернейшая ситуация сложилась при пуске конверторного цеха. Для наглядности Михаил Давыдович Заславский поставил на столе две коробочки со скрепками:

— Вот такая примерно была система загрузки сырья — ковши подавались цепью. Целых десять минут подавались. А плавка идет сорок пять минут. Имеешь понятие, сколько стоит минута в конверторном цехе?

— Не имею понятия.

— Восемь тонн стали ее цена. Тратить целый век на погрузку — дурацкая роскошь.

— Вполне с вами согласен — роскошь.

— Вот именно! Мы сконструировали совок на железнодорожной платформе, способный взять весь груз. На операцию затрачивается от силы одна-две минуты.

— Кто это — мы?

— Ну, Нефедов Александр Иванович, я, Шинкаренко Александр Сергеевич и другие. Ездили мы на заводы, смотрели и понимали: надо самим соображать. И сообразили.

Александр Иванович Нефедов вспоминал: — Было это как раз на ленинский субботник — 22 апреля 1969 года. Привезли совок в цех, а директор наш, будто воробей, прыг-скок, и не заметили, как он уже на совке сидит, ноги свесил, а высота посуды все-таки четыре метра. Я подумал тогда: «Сколько же Климасенко лет?» Под шестьдесят получилось. А что касается совка — на первый взгляд-то, выдумка простая слишком, но она послужит исправно и даст дополнительно в год 200 тысяч тонн металла и 800 тысяч рублей чистой экономии.

7

Признаюсь, я собирался побольше внимания уделить Александру Сергеевичу Шинкаренко, он же настаивал: ты, дескать, обо мне

вскользь как-нибудь, под занавес. Получилось, как и хотел главный: вскользь и под занавес. Я понял не сразу, отчего так получилось. Первые годы организации и становления службы он взял на себя неброские работы, создавая те самые тылы, не будь которых, механики бы сегодня не принимали робких просителей со всех концов Союза. Сперва Шинкаренко, как вы уже знаете, занимался технической документацией, потом ушел начальником монтажного отделения в цех металлоконструкций, дальше — ремонтно-механический цех. В 1969 году Александр Сергеевич стал заместителем Матусевича и опять в основном занимался капитальным строительством и общими вопросами. Занимался, как может только он, — неистово. Вот, пожалуй, и все, что касается биографии.

Каков же стиль теперешнего главного, коли уж речь зашла о стиле? Академик Королев сказал как-то по случаю: «Сперва я превыше всего ценил хороших специалистов, сегодня предпочитаю хороших людей». Пожалуй, Александру Сергеевичу Шинкаренко свойственен именно такой взгляд на вещи, хотя не ручаюсь, что он читал или слышал процитированные здесь слова, но ручаюсь головой: подлец или разгильдяй в системе службы долго не удержится...

Настала пора прощаться с механиками.

— Ты не найдешь у нас, — говорили мне, — никаких таких подвигов.

Я их и не искал.

...Главный, помню, был сердит, он катал потухшую сигарету во рту, перекладывал на обширном своем столе папки с бумагами. Бровями пригласил садиться:

— С молодыми инженерами сейчас беседовал. Мало читают. Я им заявил: нечитающий инженер похож на запущенную женщину. Вчера такую в трамвае видел и брезговал в одном вагоне ехать. Я им заявил: вы кого угодно обмануть можете, но свою работу обмануть нельзя.

Вот вам мой скромный сказ о людях, которые не обманывают свою работу.

г. НОВОКУЗНЕЦК,
1978—1980 гг.

Любовь Никонова

ТРИ ИМЕНИ

Поэзия Кузбасса становится все разнообразнее. Убеждают в этом поэтические сборники, вышедшие в Кемеровском книжном издательстве в последние годы.

* * *

Наверно, это навсегда —
твердить опять в своем напеве,
что нажурчала мне вода,
что нашептали мне деревья...

Это стихи из первого сборника Владимира Иванова «Беседую с тобой» (Кемерово, 1979). Владимир Иванов пытается исследовать связи, соединяющие его со всем живым миром, передать в стихах те ощущения, которые известны человеку, погруженному в природу, занятому ее жизнью. Поэт говорит о

садах,
лесах,
болотах,
рощам,
полянах,
оврагах,
нивах,
реках,
чащах,
дубравах,
ручьях,
холмах...

Местность, которая постепенно проступает сквозь стихи, заселена, в первую очередь, растениями:

ковылем,
кипреем,
горицветом,

тысячелистником,
зверобоем,
иван-чаем...

Из деревьев чаще всего встречаются:

береза,
ветла,
сосна.

Внимание поэта занимают:

стебли,
ростки,
зерна,
почки,
кроны...

Мир этот полон:

кукушек,
грачей,
глухарей,
журавлей...

Но особенно в нем, пожалуй, загадочны и заняты часто не называемые создания: «Макушка лета. Ковыли ложатся челочкой земли, зрачком бездонным синевы росинка в чашечке живет. И чей-то голос из травы к себе прислушаться зовет...» («Макушка лета...») Или: «...Уже спозаранок, не зная, что создан словарь, по рощам, лесам и полянам поет бессловесная тварь...» («И снова веселая встреча...»)

Поэт убежден, что природа изначально мудра и прекрасна, и рад слиться с нею, осязать, слушать, зреть, быть растением или другим чистосердечным организмом, жизнь которого держится на чутье и интуиции: «Я растворился. Стал травой. Землей и небом. Мирозданием. Точней сказать, самим собой. Каким задуман. Первозданным». («Ушел я на зеленый зов...»)

Но в эти целебные, лекарственные для человеческой души стихи привносится нота разлада между природой и разумом, что переживается подчас трагически: «И долго длился этот миг... Пока меня, смущая душу, не заслонил собой двойник, упрямо вырвавшись наружу...» («Ушел я на зеленый зов...»).

Человек намного сильнее тех существ, что живут рядом с ним на планете. Эта сила человека выражает себя по-разному. Есть спортивное ощущение силы; есть сила мысли, проникающей в тайны мира; есть, наконец, стремление защитить тех, кто слабее нас.

Последнее наиболее свойственно Владимиру Иванову. В стихотворении «Колокольчик» речь идет о цветке, расцветшем осенью. И вот концовка этого стихотворения:

Тучи с севера зиму пророчат,
но про это ему невдомек...
Что ж так поздно расцвел,
колокольчик,
безрассудный ты мой погромек?..

Драгоценно в человеке это милосердие, сочувствие и сострадание к другой жизни.

Близки по теме к «Колокольчику» стихотворения «Встреча» и «Птенец». Множество поэтов пишет о бесчеловечности браконьеров, множество поэтов призывает «выпустить птицу». Одни делают это оригинально, остальные повторяют друг друга. Владимиру Иванову не удалось тут сказать чего-то нового.

* Владимир Иванов, вне сомнения, создает собственную «модель мира», но банальная основа присутствует во многих стихах. Часто весь жизнеутверждающий пафос поэта сводится к воспеванию смены времен года: следом за зимой обязательно придет весна! «Была земля голым-гола, от зимних дней мерзлым-мерзла, но отогрелась, ожила». («Была земля голым-гола...») «Капает небо с вершин. Вот и зима пролетела...» («Снова слетелись грачи...») «Сошли снега. В груди просторно. И вновь все помыслы ясны...» («Сошли снега...») «Вот солнце, выкатившись, гонит холодный воздух со двора, а снег сжимается и стонет... Пришла пора, моя пора!» («Вот солнце, выкатившись, гонит...»)

Формальное решение стихов, кстати, тоже неизменно банально: миллионы раз в литературе сказано «просторно в груди», «помыслы ясны», «пришла пора».

Раз уж автор радуется весне столь непосредственной радостью, раз уж его, как язычника, потрясает этот всем привычный феномен — воскрешение природы, — отчего бы автору не сказать об этом свежими словами, отчего не развернуть мистерий, не увлечь людей машинной цивилизации карнавалами и превращениями?

Если же автор ищет в смене времен года

глубинного философского смысла, то на нас должна действовать энергия его мысли, а для этого мало констатировать: «Вот и зима пролетела».

Порой Владимир Иванов позволяет себе писать индифферентные, безразличные, бесцветные стихи, в которых никак не проявляют себя ни его любовь к жизни, ни благородство души, ни чувство слова.

Вот и месяц огибает крышу —
мягким светом высвечен порог.
Вся земля теплом подлунным дышит,
и шуршит пробившийся росток.

(«Час вечерний»)

Из четырех строк здесь только одна живая строка — шуршит пробившийся росток, — другие же — без вкуса и запаха, без пола и возраста.

И дальше опять скучный контекст, где слова благополучно соединяются друг с другом, не имея никакого электрического заряда, не высекая искры, не порождая образа:

Родина.
Вечерняя прохлада,
говор сада
да ночная тишь...

Эти стихи-обыватели. К сожалению, в сборнике они есть в достаточном количестве. Они вполне грамотны, вежливы, «приличные», если хотите, но они не вызовут ни улыбки, ни слез и не дадут интеллектуального удовлетворения: «Глоток деревенского лета, преддверие жаркого дня. Знакомые с детства приметы опять окружают меня.» («Утром»). «Пусть была случайной встреча, но готов поклаться — нет! — мы с тобой не просто вечер — мы знакомы много лет...» («Ночная беседа»).

Вероятно, когда-то не считалось зазорным употреблять в стихах образы и метафоры типа: «луговая печаль», «житейская ноша», «отцветающая юность» и даже «разлука-остуда».

Никто не знает, почему именно эти и некоторые другие подобные им выражения сделались достоянием мещанства. Может, была изначально в этих несчастных словах какая-нибудь «порочность», «червоточинка»; может, их опошлили сами поэты. Но факт: кроме пародий, они сейчас уже нигде не годятся. И Владимиру Иванову изменяет вкус, когда он использует их с полной серьезностью.

Творчество Владимира Иванова пока еще подвержено некоторым литературным влияниям. Без труда можно проследить влияние С. Есенина (стихотворение «Тишина»), Н. Рубцова («Межсезонье», «Ненастье»), Ю. Кузнецова («Стекает листья позолота», «Иннокентий Анненский»).

Вот изморозь на белой коже
свернулась в слабую капель,
и сладкой болью потревожит
под ветром скрипнувшая дверь...

Это запечатленный миг. Запечатлены и настроение, и картинка жизни, вызвавшая это настроение. В стихах Крекова одно представление всегда ведет за собой другое: «С приходом первомартовских начал отсеребрились на стволах морозы... И в тишине твой голос зазвучал обветренной кожей березы». («Твой голос»). Мы слышим голос настрадавшегося, но выздоравливающего существа, откликнувшегося на позывные жизни; может быть, это даже голос девочки в марлевом платице, бледной и слабой после тяжелой зимы.

На свете есть боль, страдание, утраты, но в целом мир непрерывен, в нем нет утечки вещества: «А я как будто на все лето дачник. Шумят грозой омытые сады. И на стене играет теплый зайчик из бочки, полной дождевой воды. На черных грядках острые росточки, а на лугах, скрывая боль утрат, оранжевые, синие цветочки на человека вежливо глядят». («День памяти»).

Через связи всего со всем и открывается единственно возможное бессмертие: «В краю суровом, на родном приволье, где нам и только нам лишь власть дана, мы выткали своим рождением поле и высеем в вечность семена». («Бессмертие»).

Виталий Креков свободно обнаруживает связи между явлениями и столь же свободно обращается со временем. Стихи его полны временных парадоксов, поэт способен услышать «в заблудившейся пчеле знакомый голос тысячелетия»; настоящее, прошлое и будущее часто меняются местами, пронизывают друг друга («Во мне запечатлелся день вчерашний, и сквозь меня проходит новый день»).

Течение времени — залог обновления земли и существ, живущих и старящихся на ней. Креков светло принимает эту истину: «Будут теплыми воды и суша. Только б в травы желанные лечь, чтобы вновь с упоением слушать одиночества ясную речь...» («Сон»).

Любопытно отношение Крекова к пространству. Независимость и неограниченность пространства нравятся поэту, и он отдаёт должное вольной воле огромных территорий: «За Иртышом, за желтой Обью проглянет сероглаз Томень... И там, за далью и за долей, стоит мой одинокий дом». («Купавы, жаркие купавы...»). Не довольствуясь земными расстояниями, поэт дерзает выйти за пределы Земли: «Прости, мое родное поле, я для тебя отпел, отшел, мой дух, рожденный силой воли, на звездные луга побрел...» («Прости, мое родное поле...»). И все-таки, поэт никогда не забывает

о своем основном назначении: не просто жить, не просто перемещаться в пространстве, но обязательно что-нибудь создавать: «Но утро. Скоро пробужденье. Пора лепить, пахать, полоть. В свое вернуться назначенье, в земную одеваться плоть». («Прости, мое родное поле...»). «Идем к бесчисленным кустам. Черемуха цветет. Идем к любимым старикам. Работать в огороде». («В гости»).

Поэтому к искушению пространства Креков порой относится с улыбкой мудрого человека: «Кто с ягодой спешит вперед, кто с легким грузиком. Мой долгожданный пароход плывет картузиком». («На Волге»).

В тоненькую книжечку Виталия Крекова вошли всего 42 стихотворения. Но как существуют явления природы, так существуют и явления души. Стихи Крекова — бесспорные явления души. А это — много.

* * *

Родной деревенский край, трудное военное детство, сельский труд, мудрость дедов, любовь к матери — таковы основные темы стихов Алексея Томилова («Красно яблоко», Кемерово, 1978).

В лучших стихах его присутствует запах плотницких стружек, чернозема или свежего хлеба. Стихи Томилова, по преимуществу, сельские, «земляные». Лирический герой в них — человек труда — хлебопашец или строитель.

Глубокое удовольствие от сделанного своими руками, удовлетворение мастера разлито в строчки: «Раскатал бревенчатый забор и поставил легкий палисадник. Отдыхает плотницкий топор на большой колоде, словно в праздник». («Светел день»).

Радость труда выражается и иначе. Иногда это азарт, восторг, головокружительная музыка:

Дай задору!
Дай дрозда!
Дай наличник для гнезда!
Дай высокие стропила,
солнцем крашенный карниз!
Пусть играет наша сила,
чтоб рубахи взорвались!

(«Пляшут «Ахи...»)

В сборнике удивительно много стихов, посвященных дедушкам и бабушкам. Вероятно, народную мудрость, понимание смысла жизни и труда автор, в первую очередь, видит в этих много повидавших, сохранивших чистоту сердца и зоркость ума людях. К числу таких стихотворений относятся: «Кузьмич», «Вспоминаются бабушке сваты...», «В гостях у бабушки», «Меня опять зовут на пироги».

Поэма «Бабушкин лен» отвечает этой же теме.

Несколько коротких стихотворений запоминаются абсолютной точностью образа. Вот одно из них:

Хрустит июль задорно огурцами.
Малина начинает поспевать.
С лугов несет подойник полный мать.
И еле сводит ночь концы с концами.

(«Июль»)

Но большинство стихов страдает из-за плохой формы, из-за небрежного обращения со словом, из-за грубых неточных рифм. Пожалуй, перед нами стихотворение «Зной»: «Листья блестят на кленах, мятою пахнут склоны. Тропки устал подорожник. Огненный зной над рожью. Шорохи жаркого сена. Мельничный пруд по колено. А у высокой ограды тенью легла прохлада». Что это? Поспешная зарисовка, беглый набросок, черновик чего-то? Если бы от всего этого стихотворения осталось две строчки с полными рифмами: «Шорохи жаркого сена. Мельничный пруд по колено», то в этих строчках сосредоточилось бы больше поэзии, чем в восьми, вместе взятых, создающих впечатление езды на телеге по кочкам и ухабам. Рифма должна помогать стихотворению жить; она дает стихотворению шлифовку, связывает части стихотворения в художественное целое. Если автор пользуется рифмой, он должен знать ей цену.

Не может не нравиться веселое стихотворение «Ситцы». Но капля дегтя, как известно, портит много меда. В стихотворение так-таки пропущена капелька дегтя — это две строчки, неуклюже подогнанные одна к другой.

Красные по полю —
аж глазам больно...

Освободить от них стихотворение — и оно будет безукоризненно.

Среди произведений, составляющих сборник, значительное место занимает поэма «Бабушкин лен». Алексей Томилов умеет показать прелесть труда; героиня поэмы, народная уме-

лица, наделена лучистым обаянием, так и представляешь ее милой традиционной «бабушкой»-мастерицей. Но из неравноценных строф состоит поэма. Поэт может прекрасно сказать:

А мне такие ладила рубашки,
что были, словно перышки, легки.
По вороту, как солнышки, — ромашки,
по рукавам — ленок и васильки.

И в эту же поэму он не гнушается пристроить вялую, лишенную энергии строфу: «Снопья вязали, складывали в кучи. И так хотелось бабушке — еще, чтоб сквозь просвет последний солнца лучик до льна ее кудрявого дошел».

Часто Алексей Томилов не выдерживает взвешанного тона стихотворения. Вот великолепное начало:

Полынь.
Крапива.
Лопухи.
Березовые прясла —
на них взлетают петухи
и полыхают ясно.

Но развитие стихотворения завершается перечислением наивных признаков современной цивилизации (антенна на крыше, следы грузовика... Кстати, можно ли так говорить — «следы грузовика», не напоминает ли это следы мамонта?), и заканчивается все неизвестно чем: «Видны следы грузовика на улице широкой. Тут мои родичи века учились песни окать».

Из-за авторской халатности идут к читателю нелепые строки, производящие комический эффект: «К правленью подскочила легковая. Петух соседский поднял грозный крик, своих врагов на схватку вызывая...», «Пастух сего дня скачет на коне...», «А за обедом на покое мне шуткой приподнимут дух...»

В загрязненной среде не могут цвести цветы. Поэзия гибнет в условиях, экологически вредных для нее. Но поэт в силах очистить свой словарь от производственных отходов. Для этого нужно работать, не забывая простой хрестоматийной истины: «Служенье муз не терпит суеты».

с. ВАГАНОВО,
ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ РАЙОН

Валентина Ляхова

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ВОЛШЕБНИКОВ

Заметки о сказке на сценах театров Кузбасса

Нынешних детей ничем не удивишь. Истина общезвестная. Наше время — не только эпоха космических полетов и небывалых механизмов. Это еще и шариковая авторучка с первого класса, и телевизоры практически в каждой семье, и алгебраические формулы в начальной школе, и конструирование электронных роботов в пионерских кружках...

А все-таки, когда мальчишки и девчонки приходят в театр, это древнее и вечно юное искусство преобразует их, заставляет волноваться. Всмотритесь, как юный математик, лишь час назад решивший задачу головоломной сложности, завидев, что Баба Яга крадется к Иванушке, искренне кричит: «Сзади! Сзади! Оглянись!..» А всезнающие, модно причесанные старшеклассники спорят о судьбе героев пьесы М. Рождина, как о чем-то близком, свершившемся в их жизни.

Такова сила театра, таково его эмоциональное воздействие на зрителей, и на юных — прежде всего.

Со дня своего рождения советский театр уделяет особое внимание детям. Появилась совершенно новая, неведомая раньше форма театрального искусства — театр юного зрителя. А «взрослые» театры постоянно включают в свой репертуар спектакли для ребят. Отечественная литература гордится плеядой дра-

матургов, посвятивших свое творчество детскому театру. Достаточно назвать имена С. Маршака, Е. Шварца, С. Михалкова, Ю. Олеши, можно перечислить десятки имен их более молодых коллег, чтобы понять, как ярка и разнообразна афиша детского театра. И среди множества жанров, представленных на этой афише, почетное место по праву занимает сказка.

Сейчас это кажется странным, но не сразу на советской сцене сказка получила права гражданства. Отыскалась большая группа людей — педагогов, писателей, искусствоведов — громогласно с самых высоких трибун заявивших, что сказка советским детям... не нужна. «Немедленно положить конец ненормальному содружеству короля с детьми!» — восклицала «Красная газета» в номере от 24 апреля 1923 года. «Эй, сказка, — на пионерский суд!» — так называлась вышедшая в 1925 году пьеса В. Кожевникова. И приговор сказкам, вложенный в уста одного из героев, гласил: «Они... только голову засоряют да от работы отвлекают!» «Сказке нет и не может быть места в нашей педагогической работе», — писала известный в то время педагог Э. Яновская.

Цитировать нетрудно еще и еще. Борьба против сказки велась упорная, планомерная.

Но в защиту жанра выступили ведущие детские писатели и литературоведы: С. Маршак, К. Чуковский, В. Смирнова, Б. Бегак. Настойчиво отстаивал сказку Алексей Максимович Горький. Он ценил в ней, прежде всего, правдивое изображение жизни, человеческих отношений, считал, что на героических образах сказок нужно воспитывать подрастающее поколение. Убеденно говорил в то время великий пролетарский писатель: «Я утверждаю, что библейская сказка о единоборстве юноши Давида с Голиафом, легенда о Персее и все сказки на эту тему были сочинены для детей, рассказывались детям и воспитывали из детей Спартаков, Фра-Дольчино и других революционеров».

Сказка не могла не доказать своего права на жизнь, ведь она по природе своей — победительница всякой косности и неправды. Ее отвергали, а она влетала в детский мир веселой «Мухой-цокотухой», выезжала в вагоне с «корзинкой, картонкой и маленькой собачонкой», плыла по сине-морию с «чудо-юдо рыб-бой кит».

Сказка победно и надолго взошла на сценические подмостки. Не случайно в годы Великой Отечественной войны одной из самых репертуарных пьес стала «Сказка об Иване-царевиче, о земле родимой и о матушке любимой» драматурга В. Гольдфельда. Отважный Иван-царевич, вступивший в праведную битву с Кашеем Бессмертным за свободу родной земли, был для ребят символом борьбы советского народа с фашистскими полчищами.

«Аленький цветочек», «Иван да Марья», «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Финист — ясный сокол». Едва ли найдется в нашей стране театр, афиши которого не украшали бы в разные годы эти пьесы-сказки, ставшие классикой советской драматургии для детей.

Правда, к концу пятидесятых годов, после триумфального успеха водевиля «Димка-невидимка», поставленного в Центральном детском театре тогда начинающим режиссером Олегом Ефремовым, сказку на сцене несколько «потеснили» современные пьесы из жизни школьников. Но вскоре оказалось, что эти два жанра — не враги, а союзники. К тому

же в полный голос заявил о себе забытый жанр — современная сказка. Пришли в театр новые драматурги, и новый юный зритель понял их, по достоинству оценил.

И у нас, в Кузбассе не одно поколение ребят восторженно следило за калейдоскопом событий, познавало мудрые житейские истины, знакомясь с героями сказочных спектаклей.

В Новокузнецком драматическом театре имени С. Орджоникидзе несколько сезонов подряд с неизменным успехом шла пьеса-сказка теперь уже бывшего кузбасского автора Тамары Ян «Анютинны глазки». Пьеса, написанная в традиционной «сказочной» манере, даже белым стихом, тем не менее была очень тепло принята юными кузбассовцами. Тема любви к Родине, тема подвига человека во имя свободы народа явилась главенствующей в спектакле, поставленном режиссером Л. Щегловым. И хотя ни в пьесе, ни в спектакле не было внешних признаков «осовременивания», «Анютинны глазки» были современны по самой своей сути, а тон спектакля — задушевный, лирический — точно соответствовал настроению зрительской аудитории.

Однажды новокузнецчанам довелось играть этот спектакль прямо под открытым небом, в одном из загородных пионерских лагерей. Была удачно найдена сценическая площадка: зрители располагались на склоне холма, а декорациями стала окружающая природа — берег реки, небольшая березовая рощица, откуда на самом настоящем коне выезжал добрый молодец Елисей. Произошло вроде бы необычное: герои сказки органично чувствовали себя в реальных условиях, и сотни ребят, присутствующих на представлении, чутко откликались на каждое событие пьесы. Верю, что надолго запомнился этот спектакль и юным зрителям, и исполнителям ролей.

Новые пьесы-сказки. Новые имена драматургов и режиссеров-постановщиков. Но год за годом театры обращаются к золотому фонду драматургии для детей — к пьесам Евгения Шварца. В последние годы областной театр имени А. В. Луначарского трижды включил в репертуар сказки этого удивительного драматурга: «Два клена», «Снежная королева», «Зо-

лушка». Правда, «Золушка» задумана была Шварцем как киносценарий, но сценическая версия этого произведения вполне правомочна.

Само обращение театра к драматургии выдающегося сказочника говорит о самом серьезном отношении коллектива и к жанру, и к юному зрителю. К сожалению, не всегда произведения Шварца получали на сцене областного театра драмы должное воплощение. Так, думается, режиссер А. Самохвалов не нашел верный ключ к прочтению «Снежной королевы». То есть внешне в спектакле вроде бы все было на месте. И текст автора бережно сохранен, и оформление особых возражений не вызывало, и актеры работали честно. Но тонкая инструментовка шварцевской драматургии была подменена тут «лобовыми» решениями образов и сцен, внешняя занимательность вытеснила внутренний душевный настрой лирической сказки. Поэтому постановку «Снежной королевы» не стоит относить к творческим победам театра.

Бесспорный шаг на пути постижения драматургии Шварца, приближения ее к сегодняшним мальчишкам и девочкам сделан областным театром драмы имени А. В. Луначарского при постановке «Золушки». Хотя и этому спектаклю присущи отдельные недостатки, свойственные предыдущему спектаклю, но в «Золушке» уже ясно ощущалось стремление глубже, проникновеннее отнестись к авторскому материалу.

А вот в театре оперетты Кузбасса драматургия Евгения Шварца явно не повезло. Режиссер В. Кодывенко взялся здесь за постановку сказки «Красная Шапочка» (музыка О. Короля). Как будто уже давно покончено в театрах с отношением к спектаклям, адресованным детям, как к чему-то второстепенному, необязательному. Но нет-нет, а старая болезнь дает о себе знать.

Вряд ли нужно говорить, что в детском спектакле опасен эксперимент, при котором центральные роли поручаются актерам, ни в коей мере не претендующим на подобные работы в постановках, адресованных взрослому зрителю. В «Красной Шапочке», показанной на сцене театра оперетты, так и случилось. Здесь большинство ведущих ролей иг-

рали артисты... хора и балета. Вполне понятно, что им не доставало умения, опыта, актерской техники. Доходило до того, что в вокальных партиях не слышна была и непонятна добрая половина текста. Пели-то... танцоры.

Режиссура этого спектакля оставляла желать лучшего. Постановщик, видимо, ограничил свою работу тем, что проконтролировал знание актерами текста. Да и то в ряде эпизодов сам «улучшил» текст Шварца. В сказочном спектакле для детей не было творчески найдено ни одного яркого решения сцен, не прочерчен ни один характер персонажей. Картину дополняло примитивное бедное оформление спектакля.

Увы, не принесла на этот раз ребятам радости встреча со сказкой, встреча с театральным искусством.

Не стала памятным событием для юных зрителей и одна из последних премьер театра оперетты. Скучно, без фантазии и огонька поставлена была здесь сказка «Соло для принцессы». А ведь драматургический материал, основанный на сказках Андерсена, дает возможность для спектакля яркого, веселого. Увы, интересные возможности использованы не были.

Приходится говорить о странной традиции, бытовавшей в этом театре. К спектаклю-сказке для детей здесь относились за редким исключением с непонятным пренебрежением. Доказательством может служить последняя работа театра в этом жанре — постановка сказки-комедии А. Леванского и В. Вайранова «Кашеева загадка» (музыка Н. Греховодова), премьера которой совпала с зимними школьными каникулами 1979 года.

Драматургический материал этой современной сказки мог бы послужить поводом к созданию спектакля, не оставляющего юного зрителя равнодушным. Однако (в который раз!) среди исполнителей ролей мы не находим ни одной фамилии ведущих актеров театра. Естественно, что режиссер В. Волков, для которого постановка «Кашеевой загадки» явилась первой пробой сил в профессиональной режиссуре, оказался в положении незавидном. Актеры, сами не обладающие доста-

точным опытом и навыками, не смогли прийти на помощь начинающему режиссеру. Образного решения спектакля постановочному коллективу найти не удалось.

В результате — отсутствие ярких характеров персонажей, бедность мизансценического рисунка, и, что, пожалуй, самое главное, исчезновение из спектакля основной мысли пьесы, накала борьбы.

Как следствие небрежной работы театра — равнодушный зал, переговаривающиеся между собой мальчишки и девчонки, с нетерпением ожидающие... конца спектакля.

Самый благодарный, самый темпераментный зритель — дети остро чувствуют фальшь, они не прощают театру равнодушного отношения к себе.

Но есть в Кузбассе театр, который много лет является верным другом и пропагандистом сказки. К сожалению, пресса мало уделяет внимания коллективу, работающему в скромном здании на улице Весенней областного центра — театру кукол имени Гайдара. Главный режиссер этого театра В. Нагавицен не декларирует свою любовь к жанру. Он просто ставит один за другим умные, увлекательные, яркие по форме сказочные спектакли. Достаточно вспомнить сказку «Цветик-Семицветик» В. Катаева, поставленную этим режиссером изобретательно, неожиданно. Нагавицену близок и понятен сложный жанр современной сказки, объединяющей в единое причудливую фантастику и бытовую реальность. Нагавицену-постановщику по душе спектакль-игра, в которой ребята не равнодушные зрители, а самые активные участники действия. Именно так решен в театре кукол спектакль «Тридцать дней Кашея Бессмертного».

Школьникам хорошо известна книга Э. Успенского «Вниз по волшебной реке», положенная в основу пьесы. Знаком им мальчик Митя, отправившийся навестить свою престарелую родственницу, ставшую... Бабой Ягой. Понятны и многие события, произошедшие во владениях царя Макара, которого по приказу Кашея чуть не съел Змей Горыныч.

При переводе книги в пьесу, а затем в спектакль, современная сказка обрела новое

звучание. Поэтому с захватывающим интересом смотрят ее школьники. От эпизода к эпизоду в спектакле ненавязчиво, но отчетливо звучит поучительная нота. Зрители от души смеются над Соловьем-Разбойником, незадачливым Макаром и другими персонажами, воссозданными с сатирической меткостью. В героях спектакля ребята по точно найденным режиссером и исполнителями деталям узнают кое-кого из своих товарищей. Сказка, как это и должно быть, становится педагогом, воспитателем.

Однако, как я уже отмечала, именно современной сказке не всегда везет на сцене кузбасских театров. Детский писатель Ю. Томин подарил ребятам умную веселую пьесу «Чудеса без решета». Спектакль по ней несколько лет назад поставил на сцене областного театра драмы режиссер Д. Шаманидин.

Вспомним содержание пьесы-сказки Ю. Томина, ведущим с детьми разговор о чувстве товарищества, о никчемности жизни только для себя. Есть в пьесе такое действующее лицо — Автор. По воле Автора, герой пьесы — школьник Толик — получает волшебную силу: если он «очень сильно захочет», любое его желание тотчас выполняется.

Толик приходит в спортивный зал и выжимает штангу весом в 300 килограммов, в тире «бьет без промаха» и забирает все призы, Толик нокаутирует взрослого чемпиона города по боксу...

— Постойте! — могут возразить читатели, которые видели спектакль. — Ничего подобного в спектакле не было!

Правильно, не было. Все эти эпизоды режиссер-постановщик самолично из пьесы, а, стало быть, и из спектакля... выбросил. Зато кульминацией стала сцена, где Толик, «очень сильно захотев», выиграл по лотерее «Волгу». К слову, именно этот эпизод Ю. Томин убрал из пьесы при ее публикации.

Вообще, режиссер обошелся с авторским текстом предельно вольно. Отсюда ряд несуразиц, приведших к неверному толкованию спектакля. Нелепо выглядят взрослые, окружающие Толика. И вместо спектакля, осуждающего школьника-самолюбца, получился спектакль, делающий Толика героем, на сто-

роне которого зрительный зал. Вольно или невольно, но отлично написанная сказка при постановке зазвучала «наоборот».

К счастью, все реже мы становимся свидетелями подобных «творческих» экспериментов, и все чаще свидания юных кузбассовцев с настоящими спектаклями-сказками в залах театров области.

И все же остается сожалеть о том, что даже наиболее оригинальные и содержательные сказочные спектакли в силу ряда объективных и не очень объективных причин не сохраняются в репертуаре театров. Так, юные новокузнецкие сегодня уже не увидят на сцене театра имени С. Орджоникидзе спектакль подлинно гражданского накала «Свободное небо». Постановку этой пьесы-сказки драматурга Л. Устинова коллектив Новокузнецкого театра приурочил к 50-летию Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Сюжет пьесы необычен даже для жанра современной сказки. Действие происходит в годы Великой Отечественной войны в небольшом городе, захваченном фашистскими оккупантами. Пионеры, оставшиеся в тылу врага, решают торжественно отметить день рождения В. И. Ленина. И с помощью своих верных друзей — птиц — они поднимают над городом портрет Владимира Ильича.

Оружие врагов бессильно перед бесстрашием советских пионеров. Портрет реял в свободном небе как свидетельство негнимои воли народа, сумевшего воспитать таких мужественных ребят, какими предстают герои спектакля Коля и Саня.

Нужно было видеть взволнованные лица сидящих в зрительном зале школьников, чтобы со всей полнотой оценить творческую работу постановщика спектакля Э. Агу, художника В. Ковалева и небольшого коллектива исполнителей ролей. Юных зрителей нисколько не смущало то, что птицы — Попугай, Скворец, Ворон — говорили по-человечьи и активно вмешивались в события. Наоборот, по удачно найденным деталям сценических костюмов многие узнавали в артистах этих птиц и сердцем понимали их активное участие в героическом подвиге пионеров.

В спектакле «Свободное небо» произошло

счастливое единение сказочной фантастики с легендарной действительностью. Театральная условность, точно воспринятая детьми, стала верным союзником творческого коллектива. Мужественным, глубоко гражданственным спектаклем обернулась современная сказка.

Повторяю: обидно, очень обидно, что сегоднешние школьники этого спектакля не увидят. А ведь со дня премьеры прошло меньше семи лет. Это очень мало, если учесть, что, к примеру, сказка «Аленький цветочек» на сцене Московского театра имени А. С. Пушкина идет три десятилетия, не говоря уж о «Синей птице» во МХАТе. Разумеется, масштабы театров несоизмеримы, в периферийных и частая смена актерского состава, и другие факторы, но все-таки...

Хочется помечтать. Помечтать о том, что лучшие спектакли-сказки становятся золотым фондом наших кузбасских театров, о том, что новые исполнители приходят на смену актерам-ветеранам, в конце концов, и о том, что молодые родители ведут своего ребенка на спектакль, который сами видели в детстве. Видели и запомнили на всю жизнь.

А еще мечтается о том, чтобы в репертуаре наших театров появились спектакли, поставленные по пьесам-сказкам кузбасских авторов. Возможно ли такое? Вполне. Долгие годы областная филармония показывала сказку кемеровчанина Ивана Сокола «Неприятности профессора Топтыгина». Пусть она была в чем-то несовершенна, но выдержала не одно представление, полюбились юным зрителям.

Могла бы принести пользу театру, юным зрителям Зинаида Чигарева, чей литературный путь начался с драматургии.

А сколько нераскрытых возможностей таит в себе шорский фольклор? А рабочий фольклор Кузбасса? Кому, как не нашим писателям, взяться за решение сложной интересной задачи: дать героям местного фольклора сценическую жизнь.

Пока это только благие пожелания. Но в сказке, известно, добрая мечта всегда становится былью. Почему бы не сделать былью и эту мечту? Юные зрители будут только благодарны за такое внимание к себе и автору, и театру.

Николай Карев

ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ

Снегирей запоминаешь и любишь с самого детства. Может, оттого, что особенно поражает воображение их необычное для красок зимы оперение. Приглядитесь внимательно: сколько красок в этом маленьком пушистом шарике — черный, светло-серый, белый и киноварно-красный цвета составляют гармоничный ансамбль в костюме снегиря. Вот они, словно алые маки, расцвели на замороженных ветках ранетки. Телеобъектив останавливается на одном, и становится ясно, что это уже не мак, а маленький, пушистый розовый шарик. Кажется, слабый ветерок вот-вот сдует его с ветки. Более точная наводка объектива на резкость рассеивает и эту иллюзию. Розовый шарик становится ярким, как осеннее яблоко, у которого вместо плодоножки — цепкие лапки, а вместо пестика — маленький сильный клюв. Вот сверкнула яркая искорка глаза. Красный шарик — живое существо. Снегирь.

Можно долго любоваться, глядя на эти красные шарики, которые так живописно украшают голые ветки дерева. Но в объективе видно другое, нечто скрытое от простого глаза. Вот снегирь склоняется к ягоде, и коротенький клюв, приспособленный для размалывания, превращает твердую ягоду в труху. Снег под яблоней чернеет от нее. Снегирь питается семенами высохшей ранетки. Он достает их поразительно быстро и точно, не уронив ни одного. Но если вдруг и упадет какое-нибудь семечко на землю, снегирь соскакивает на снег, делая в нем глубокую ямку, и отыскивает упавшее зернышко. И это он делает в то время, когда на яблоне тысячи и тысячи отборных ягод. Очевидно, в природе все подчинено здравому смыслу.

Зимнее солнце в феврале блестит уже повесенному. И в его выглянувших из морозной кисеи лучах снегиринный костер разгорается

еще ярче. Минуту назад серая ветка яблони была тихой и скучной, теперь же, уронив несколько искорок-снежинок, она вздрогнула и запылала ярким пламенем.

Щелкнул затвор фотоаппарата и снегирь, словно пригоршня румяных ранеток, посыпалась на крышу соседнего дома. И снова тишина. Яблоня вновь расцветает алым цветом.

Но никто не останавливался, не поднимал головы и не наблюдал с затаенным сердцем еще одну загадочную и не менее красивую птицу, прилетевшую зимой в наши края.

Однажды я, взяв фотоаппарат, вышел на улицу, чтобы сделать по случаю два-три кадра. Я знал, что в такое время в городе можно встретить свиристелей. Эти птицы всегда поражали меня своей необычностью: буровато-серым, мягким, густым с красноватым оттенком оперением, свисающими узкими полупопущенными крыльями, разукрашенными светло-желтыми пятнами. Мое воображение всегда волнует загадочность их жизни, о которой мы можем догадываться, читая книги.

Свиристель — красивая птица. Но любить ее надо не только за красоту. Это полезная птица. Как, впрочем, полезны в известной мере все птицы. Но польза свиристели особая. Не удивляйтесь, если вы встретите однажды росток рябины в том месте, где зимой были свиристели. Этот росток — их след. Там, где пролетает свиристель, через несколько лет будут расти плодово-ягодные деревья и кустарники. Таковы свиристели — добровольные садовники земли.

И еще одна встреча в февральский морозный день.

В этом году список зимних гостей увеличился за счет не улетевших в теплые края дроздов-рябинников. Еще в ноябре можно было заметить, как дрозды, сбившись в огромные

стаи, делали налеты на мичуринские сады, оставленные под зиму. Но тогда все же казалось, что это последние гастроли собравшихся улетать птиц. Но дрозды остались зимовать в Сибири. Что заставило их пойти на этот рискованный шаг? Как дрозды узнали о том, что зима будет теплой, а кормов хватит на всех? Как они рассчитали богатый нынешний урожай рябины?

Очевидно, на эти вопросы легче ответить специалистам-орнитологам. Нам же остались впечатления от зимней встречи с дроздами.

Они прилетели утром. Туманная изморозь еще не успела опуститься на землю с заиндевелых хрупких тополей, как двести, а может, больше, птиц с крапчато-серым оперением оккупировали их и замерли.

Медленно поднималось зимнее солнце, с трудом пробивая холодными лучами дорогу к земле. Эти лучи коснулись и дроздов, превратив их оперение из пятнистого в красно-медное у тех птиц, которые сидели несколько ниже, и червоно-золотое — у сидящих на самых верхушках веток. Казалось, что дрозды вычеканены из золота или бронзы и каким-то образом усидели на хрупких ветвях белого от инея тополя.

Это была мимолетная сказка. Потому что в следующую секунду хлопнула где-то рядом калитка, скрипнула, ломая тысячи кристалликов, сугроб, и вся стая дроздов, подняв серебристое облачко инея, перелетела на соседнее дерево.

Фотографировать на тридцатиградусном морозе — занятие не из приятных. Затвор фотокамеры замерзает и останавливается, едва сделав пятнадцать кадров. Поэтому под теплым полушубком приходится держать запасной фотоаппарат. Но и он не выдерживает. Укутываю камеры шарфом и прячу их на груди под шубой. А дрозды на рябине устроили праздник.

Кроны высоких тополей служат для них своеобразными стартовыми площадками. Старты идут по порядку. Пока одна группа дроздов наблюдает за окрестностью, другая смело пикирует на рябину.

Дрозды видят меня и стараются сесть на ветки с другой стороны дерева. Я не шевелюсь, хотя уже замерз: снаружи меня щиплет мороз, а под шубой — холодный металл объектива. За свое мучение я получаю отличные кадры в награду.

Птицы перелетают на рябину. Пятнистый красавец устраивается на ветке прямо надо мной. Стрельнул черным глазом, и, убедившись, что ему никто не угрожает, принимается за обед.

Я потихоньку вытаскиваю отогревшийся аппарат. На матовом стекле видоискателя все отчетливее виднеется изящная фигура птицы. Дрозд крепко обхватил лапками кусочек дерева. Острый клюв захватывает мерзлую ягоду. Резкий взмах головы — и ягода зажата в самом кончике клюва. Следующее мгновение — ягода исчезает. Это повторяется молниеносно, как фокус манипулятора, и интригует фотоохотника. Я хочу зафиксировать дрозда с рябинкой в клюве, но мне это почти не удается. Слишком быстро он проглатывает ягоду. Кстати, затвор аппарата снова остановился, а пальцы совершенно перестают слушаться и управлять объективом.

День уже подходит к концу. Солнце теперь светит сквозь ветви деревьев. А дрозды продолжают ошипывать уже заметно поредевшую рябину. От кудрявой красавицы остались редкие веточки с кое-где висящими отдельно ягодками. Но и им, пожалуй, не устоять до захода солнца.

Наконец, рябина очищена. Стая дроздов вновь собралась на кроне высокого тополя. Завтра им предстоит прожить еще один зимний день в нашем городе.

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ

Когда над заснеженной тайгой спустятся густые зимние сумерки, в глубине сучьев старого дерева шевельнется вдруг мрачная рых-

лая фигура неведомой птицы. Она нехотя, лениво вытягивается, медленно расправляет широкие округлые крылья и вдруг бесшумной

тенью падает с дерева. Эта птица — бородатая неясыть. Редкий вид из семейства сов. Истинно лесная сова. В то время, когда все живое отходит ко сну, бородатая неясыть бодрствует. В ночное время у этой совы начинается охота.

Легко скользит бородатая неясыть между темными ветвями: не свистит ветер в больших мягких крыльях, не дрогнет ни одна снежинка на лапнике от их взмаха. Никто не догадается о полете неясыти. Она же — само воплощение слуха, зрения и стремительности. Вот где-то внизу задела неосторожно сухую былинку серая полевка. Слух совы немедленно выпеленговал этот слабый лесной шорох. С быстротой молнии метнулась одним мгновением птица вниз — и вот уже жертва крепко зажата в крючковых когтях пернатого ночного охотника.

Когда же над тайгой поднимается тусклый зимний рассвет, для неясыти снова наступит время отдыха. Опять она выберет глухой уголок среди ветвей дерева и затихнет до следующих сумерек.

Не часто можно встретить в лесу пернатого хищника. И уж совсем счастливая удача, если увидишь одну из самых редких, крупных и красивых сов — бородастую неясыть. Эта птица необычная, как, впрочем, любые совы, филины, сычи. Воображение человека особенно поражает характерная физиономия бородастой неясыти. Она смотрит немигающими желтыми глазами с большими черными зрачками и чем-то напоминает мыслящее существо. Взор неясыти всегда обращен вперед, внимательный и пронзительный взгляд неотступно следит за каждым твоим движением. Невозможно незаметно подойти к сове и сзади. Не меняя положения тела, птица поворачивает, будто она на шарнире, голову, и те же глаза будут упорно и неотступно следить за тобой. Трудно оставаться равнодушным под взглядом совы, чувствуешь какую-то непонятную неловкость...

У сов и человека есть свои счеты. Одно время люди считали их вредными птицами и без разбора уничтожали. Потом разобрались, и оказалось, что все совы без исключения полезны, так как в большом количестве истребляют грызунов. Но и сейчас еще не все, кто бывает

в лесу с ружьем, особенно охотники-любители, знают, в кого целят свое оружие.

Вот и с неясытью случилась беда. В тот раз, как ни прислушивалась она, как ни вглядывалась в черный мрак ночи, охота ей не удавалась. Кто-то громкий, беспокойный был на ее участке. Под широкой лапой ели плясали желто-красные языки пламени, стлался едкий дым, раздавались треск сучьев, стук топора, падали деревья.

Это заночевали в тайге люди. В полночь костер под елью стал затухать. Красные угли покрылись седым пеплом, и лишь изредка вспыхивал какой-нибудь недогоревший сучок слабенькой искоркой, и снова обнимали все вокруг непроглядная темень и тишина ночи. Сон человека в тайге чуткий. Попробуй засни крепко, когда все кругом так таинственно насторожено. Зловещий шорох в невидимых ветвях деревьев. Сыплется на голову сор с дерева... Вздрыгнул невольно человек, пополз ли по телу холодные мурашки. Неужели рысь? Круглые неподвижные глаза по-кошачьи сверкнули из мрака. «Ш-ш-шыр-ррр... Кек-кек!» — донеслось до слуха. Руки крепко сжимают спасительное ложе ружья, палец деревенеет от напряжения на спусковом крючке. Еще одно мгновение — и тишину ночи раскалывает громкое эхо выстрела... И все стихает до самого рассвета.

А утром человек находит под деревом большую серую птицу. Он не знает, что своим шальным выстрелом ночью ранил редкую сову — бородастую неясыть. Она сейчас не может никуда лететь, потому что картечью перебито крыло. Она встречает человека лишь угрожающим щелканьем клюва, хотя на застывшем круглом лице не видно отчаяния обреченности и беспомощности, какую терпит она. Но человек теперь все понимает. Он подходит к раненой птице и протягивает к ней руки...

Охотник привез бородастую неясыть в город и поселил временно на балконе, пока не зажило крыло. Перед тем, как выпустить ее на волю, он встретился со мной и попросил сделать снимок совы на память. Я выполнил его просьбу.

Владимир Матвеев

ИЗ ЦИКЛА
«ПАРАДОКСЫ И ПЕРЕСМЕШКИ»

КОРОВЬИ ВЗДОХИ

Совершила Буренка
по Европе круиз...
И в родимом хлеву
за капризом каприз:
— Пусть банальное сено
бык жуёт несознательный!
Не могу без заморской
резинки жевательной!



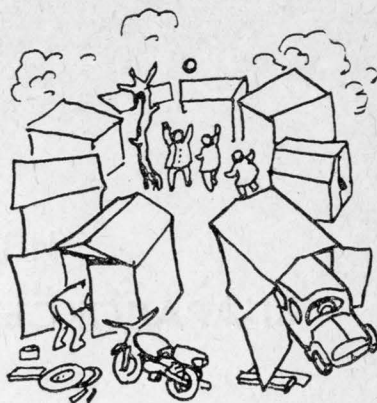
ОЧЕРЕДЬ НА КВАРТИРУ



Бывает,
против всяких правил,
обратный
действует отсчет:
десятый —
новоселье справил,
а первый —
ждет
десятый год.

ДЕТИ В ГОРОДСКОМ ДВОРЕ

Огорошены,
ошарашены —
огорожены,
огаражены.



МОДНОЕ КАФЕ



— Все есть
для блага человека, —
Перечислял
директор гордо, —
Закуски,
вина,
дискотека
И вышибала —
мастер спорта.

ОТКРЫТИЕ В СОВХОЗЕ

Студентка «иняза» Лена
Цветет в прозренье счастливым:

— Сенаж — обычное сено,
Только с французским отливом.

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД

Растет и ширится протест,
Попали двое в переплет:

Один — не трудится, но ест,
Другой — работает, но пьет.

ГОЛОСИСТАЯ АНАТОМИЯ

И пели женщины глазами,
Руками пели и спиной.

Александр РОМАНОВ

Талант обычный скоротечен,
За ним, приятель, не гонись.
Иное дело — руки, плечи
И прочий женский организм.
Его певучая основа —
Погибель для мужских сердец:
Глаза звучат, как Толкунова,
А нос, как Ольга Воронец.

Мелодии любви послушай
И не забудешь их по гроб —
Как Пьеха, голосисты уши
И, как Софи Ротару, — лоб.
И сам я, если загуляю,
С певцами разными — на «ты»:
Спиною — вылитый Гуляев,
А животом — Кола Бельды.

БАНЯ С КОПОТЬЮ

И так легко, как заново,
Гуляю холостым!
Опять — село Романово,
С малинником густым.
Я в банном деле опытен.
Для новичков-гостей
Устрою в бане с копотью
Пропарку до костей.
Плясала ты цыганочку.
Какой момент!

Цыганочка, цыганочка,
Хочу в «Ромэн»!
Пока рассветы розовы,
Тому ли еще быть!
До осени, до осени
Земле меня любить.
И щедро, и восторженно —
Я буду много дней
Находками таежными
Одаривать людей.

Вниманию читателей! У этого стихотворения коллективный автор. Оно родилось из строф, принадлежащих пяти поэтам, чьи сборники в разные годы увидели свет в Кемеровском книжном издательстве. Имеются в виду стихи Ивана Полунина («Февральская свирель», стр. 81); Геннадия Гаденова («В краю тридцати елок», стр. 53); Любови Никоновой («Скрипичный ключ», стр. 57); Сергея Донбая («Прелесть смысла», стр. 17) и Леонида Гержидовича («Таволга», стр. 90). Благодаря лирикам за возможность составить из их четверостиший шутивную композицию.

Содержание альманаха за 1980 год

СТИХИ

Анатолий Балакай. «Все реже, реже в небе синева...» «Когда-нибудь под воскресенье...» № 2.

Виктор Бокин. Подкова. «Расстелена дорога...» «Мои руки...» Скорость. № 2.

Леонид Гержидович. Нинка. «То ли с кедра, то ли с липы...» № 1.

Станислав Долгов. Присказка. Волшебные сундуки. № 2.

Валерий Зубарев. «Однажды солнечным лучом...» «Я — невольник всего. От всего...» Человек вселенский. «И с вами, люди, одинокая...» «Не зря и в мирской суете...» «Не плач ты о том...» «Движение судеб и миров...» № 4.

Александр Ибрагимов. Есть у влюбленных свой язык: «Возможна ли еще любовь...» «Целомудренны голые рощи...» Без тебя. «Любимая, как дни простоволосы...» «Не прикоснусь я глазами к любимой...» № 3.

Владимир Иванов. «Как много печали в разлуке...» «Взмахи веток и солнце с утра...» Птенец. «Из ряда привычных явлений...» № 1.

Николай Колмогоров. «Я не знаю судьбу наперед...» «Хрустальной палицей мороза...» «Начинают жить оттаявшие крыши...» «Слышу дни, когда дом наполнялся...» № 3.

Павел Майский. «Бесхозный, подгоревший старый дом...» «Лето знойное. Даль бронзовеет...» «За рекой в луга садится солнце...» «Из тайги выхожу под вечер...» № 4.

Михаил Небогатов. Из цикла стихов о творчестве «...На самой задумчивой ноте: «Очень трудный жребий у поэта...» «Привыкаем за жизнь ко всему...» «Говорю себе: время не трать...» «Не люблю доступны вершины...» «Гении непризнанные... Жаль их...» «Если чувства запустишь...» «Жизнь у всех по-разному поется...» № 3.

Николай Николаевский. Ночные смены. Честивот шахтеров. Перед грозой. Воспоминания друзей. № 2.

Любовь Никонова. Ночная река. «В траве зем-

ляничной...» Свидания в дождь. «Мама, в лесу невозможно теперь...» № 1.

Владимир Петраш. «Обиду, как нелепый сон...» Мгновение. Бревенчатый собор. № 2.

Иван Полунин. У памятного дома. «Крылья крепнут в полете!...» У Прохоровки. № 1.

Александр Раевский. После дождя. Молодые. «Я по комнате пройду...» № 2.

Александр Родионов. Сосед. № 3.

Леонид Сербин. «Прощаюсь, каюсь, лгу себе...» «Не учи хорошему...» «Давай с тобою так поговорим...» № 2.

Тамара Страхова. «Подари мне снеговика...» Дерево. «Нам все известно наперед...» № 1.

Алексей Томилов. День рождения. «Полдень знойный...» № 1.

Геннадий Юров. Из лирической тетради: «Что даровано от бога?..» «Вот опять ощущает строка...» Язык цветов. «Какому зову ныне внемлю?..» № 4.

ПРОЗА

Владимир Власов. Метелица. Должен умереть. Последний транспорт. Рассказы. № 2.

Афанасий Гуковский. Крутые повороты. Рассказ. № 2.

Василий Долгих. Вынужденная посадка. Рассказ-быль. № 4.

Екатерина Дубро. Облачно, с прояснениями. Рассказ. № 3.

Геннадий Емельянов. Истины на камне. Фантастическая повесть. № 1.

Геннадий Естамонов. Здесь я живу. Повесть. № 4.

Владимир Куропатов. Три рассказа: День-то какой! Односельчане. Следствие. № 2.

Юрий Моренис. Сказки города: Вступительный аккорд. Воспоминание о понедельник, или сказка о мамонте. Сказка о танке. Ночь. (Сказка, похожая на открытое окно). Сказка о песне. № 3.

Людмила Филаткина. Ночная смена. Рассказ. № 3.

АНТОЛОГИЯ КОРОТКОГО РАССКАЗА

Алексей Бабанин. Голубое озеро. № 2.
Анатолий Бобриков. Огненный змей. № 3.
Галина Гурьянова. Ревность. № 2.
Дюсен Есмагамбетов. О царе-мечтателе и миражах. № 2.
Александр Лапшин. В пути. № 3.
Леонид Лягов. Сапоги. № 2.
Гарий Немченко. Иней на стекле. № 3.
Валерий Сибикин. Мне подарили лето. Зеленые ливни. № 2.

НАШ СОВРЕМЕННОК

Геннадий Емельянов. О людях, которые не обманывают свою работу. № 4.
Нина Спирина. Три ключа. № 1.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Илья Зыков. Здравствуй, сохатый! № 2.
Гарий Немченко. Четыре этюда: Малая птица. Зазимок. Осенние костры. Хранительница света. № 2.
Валерий Сибикин. Ученый червяк. Ай да строитель! Новеллы. № 3.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Мэри Кушникова. Счастливые и грозные дни Достоевского. № 2.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Петр Ворошилов. Рядом — Монголия. № 3.

ИСКУССТВО

Валентина Ляхова. Путешествие в страну волшебников. Заметки о сказке на сценах театров Кузбасса. № 4.

Эвелина Суворова. Жить и творить в своем времени. № 1.

СЛОВО КРИТИКЕ

Светлана Мекшен. Житель своей земли. Заметки о поэтическом сборнике Леонида Гержидовича «Таволга». № 1.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Анатолий Бакалов. От первого лица. № 3.
Евсей Цейтлин. «Легко ли быть сатириком?..» О творчестве Владимира Матвеева. № 2.

ПЕРВЫЕ СБОРНИКИ МОИХ ТОВАРИЩЕЙ

Любовь Никонова. Три имени. № 4.

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Владимир Матвеев. Из цикла «Парадоксы и пересмешки»: Коровьи вздохи. Очередь на квартиру. Дети в городском дворе. Модное кафе. Открытие в совхозе. Товарищеский суд. Голосистая анатомия. Баня с копотью. № 4.
Анатолий Паршинцев. Лесная трагедия. № 3.
Геннадий Юров. Баллада о последней сигарете. № 1.

НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ

Вадим Назаров. Чего для? Пародия. № 3.

ПЕСНЯ

Г. Григоренко, В. Махалов. «Родина». № 1.



Наши авторы

ЮРОВ Геннадий Евлампиевич родился в 1937 году в г. Кемерове. Окончил Томский государственный университет. Автор сборников стихов и поэм. За очерковую книгу «Труженица Томь» удостоен премии Союза журналистов СССР.

Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

МАЙСКИЙ Павел Николаевич родился в 1937 году в поселке Центральный рудник Кемеровской области. Окончил Сибирский металлургический институт и Литературный институт имени М. Горького. Работает главным инженером проекта новокузнецкого института Сибгипромет. Автор поэтических книг «Взмах крыла», «Сарбалинская рапсодия» (г. Кемерово) и «Солнечная деляна» (г. Москва).

ЗУБАРЕВ Валерий Федорович родился в 1943 году в с. Кайла Кемеровской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор поэтических книг «Говорил со мною ветер...» и «Магнитное поле».

Член Союза писателей. Живет в Прокопьевске.

ЕСТАМОНОВ Геннадий Акепсимович родился в 1937 году в г. Сковородино Амурской области. Окончил Казанский химико-технологический институт. Печатался в газетах, в альманахе «Огни Кузбасса».

Живет в Кемерове.

ЕМЕЛЬЯНОВ Геннадий Арсентьевич родился в 1931 году в с. Курагино Красноярского края. Окончил Московский государственный университет. Много лет проработал в газетах Кемеровской области. Автор многих книг прозы, изданных в Кемерове и Новосибирске.

Член Союза писателей. Живет в Новокузнецке.

ДОЛГИХ Василий Сергеевич родился в 1929 году. Окончил Ленинградский горно-металлургический техникум. Работает начальником Акальской геолого-разведочной партии. Печатался в газетах, в альманахе «Огни Кузбасса».

Живет в п. Крапивино.

МАТВЕЕВ Владимир Федорович родился в 1932 году в с. Лещихино Калининской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Долгое время работал в газетах области. Поэт-сатирик, автор пяти книжек.

Живет в Кемерове.

НИКОНОВА Любовь Владимировна. Окончила Новокузнецкий педагогический институт и работает учительницей в школе села Ваганово Промышленновского района. Автор сборника стихов «Скрипичный ключ».

55 K.